

80 к.

И. ГУММЕР

ГРАНИЦА ВСЕГДА ГРАНИЦА



И.ГУММЕР

ГРАНИЦА ВСЕГДА ГРАНИЦА

Повести

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
1989

ББК 84 ЗР7
Г93

Рецензент **Мельничук В. А.**

Редактор **Журавлев М. М.**

Гуммер И. С.

Г93 **Граница всегда граница: Повести.— М. :
ДОСААФ, 1989.— 232 с.
80 к.**

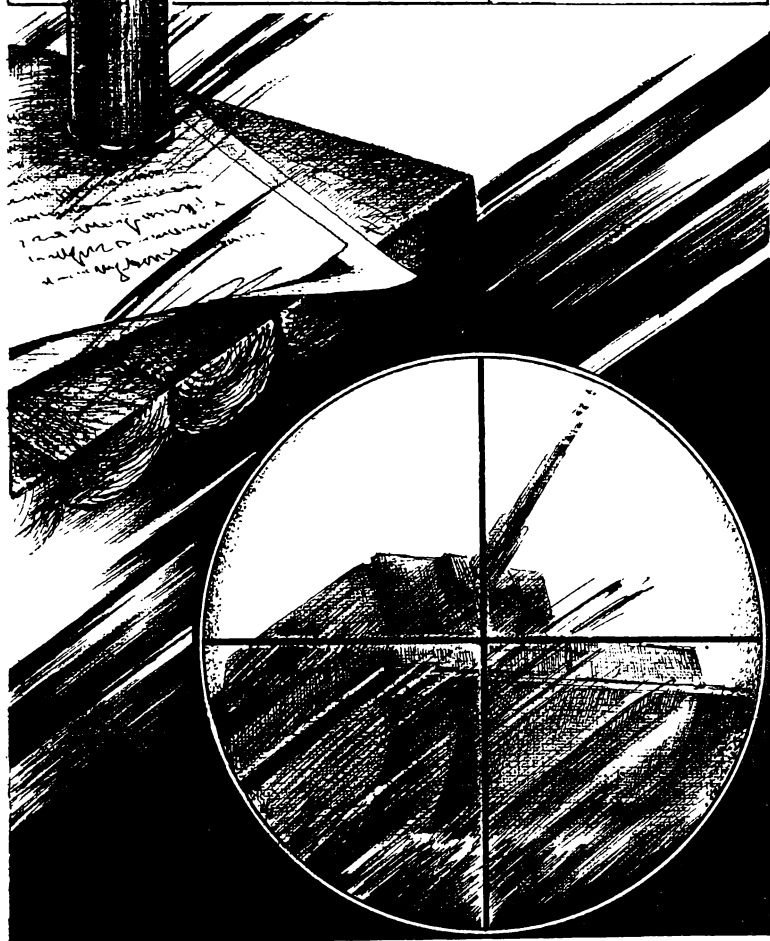
Остросюжетные повести, включенные в сборник, посвящены советским пограничным войскам. Первая из них — «Железный ветер» — рассказывает о мужестве и героизме пограничников, волею судеб оказавшихся в числе защитников Сталинграда. Остальные произведения повествуют о сегодняшних воинах пограничных войск, их верности традициям старших поколений.

Для молодежи.

Г 4702010201-031 72-89
072[02]-89

**ББК 84 ЗР7
Р2**

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕТЕР



Людской поток катился к Дону.

По гладкой, ровной, как стол, выжженной палящим солнцем степи брели измученные люди. В мокрой, почерневшей одежде, в стоптанных, полуразвалившихся сапогах, а то и босиком, с грудными детьми на руках, с захваченными второпях вещами шли старики и старухи, матери и дети — к Дону, к переправе. Шли, спасаясь от надвигающихся фашистских полчищ.

А когда вдали блеснула полоска воды, люди, собрав последние силы, ринулись вперед. Казалось, еще мгновение — и толпа сметет жидкий воинский заслон...

— Воздух! Ложись! — раздался зычный голос.

С ревом пронеслись фашистские самолеты. Уткнулись лицом в колючую землю женщины, старики, подростки. Лежали не двигаясь...

Гул самолетов затих, выстрелы прекратились.

— Не вставать! — прозвучал тот же громкий властный голос. — Передвигаться ползком по берегу. Переправляются сначала женщины и дети.

Невысокий коренастый командир с тремя кубиками в зеленых петлицах, забравшись на перила моста, во всю силу легких повторял:

— Без паники! Всех переправим! Без паники!

Сжимая карабины, на мосту с решительным видом стояли красноармейцы в зеленых фуражках.

Два человека неподалеку от моста внимательно наблюдали за переправой.

— А я, признаться, испугался, — облегченно проговорил один, когда люди без толкотни и суеты пошли через мост.

— Полно, Александр Андреевич, — отозвался другой. — Ведь здесь пограничники!

— Так-то оно так, Петр Никифорович. Но ведь толпа — страшная сила. — Еще раз кинув взгляд на перепра-

ву, добавил: — Ну что ж, за мост мы теперь спокойны. Посмотрим, как дела у других.

Командир недавно сформированной 10-й дивизии НКВД полковник Александр Андреевич Сараев и комиссар этой дивизии полковой комиссар Петр Никифорович Кузнецов объезжали далеко разбросанные друг от друга полки и подразделения. Враг был еще за Доном, и дивизия охраняла тыл наших войск, вылавливала диверсантов и шпионов, наводила порядок на переправах.

Все в дивизии — и командиры, и бойцы — понимали, что, как ни важна такая служба, скоро ей придет конец. Не только для этого сформирована в Сталинграде полнокровная боевая дивизия. 271-й и 282-й полки прибыли из Свердловска и Горького и были укомплектованы уральскими и волжскими рабочими, крепкими, закаленными в труде людьми, знающими цену товарищеской выручке и дружбе. 272-й формировался в Чите и в Иркутске из бойцов и командиров, выделенных из пограничных отрядов Забайкальского округа и внутренних войск. 269-й и 270-й набирались из сталинградских рабочих, командиров и бойцов частей НКВД, воевавших с немцами под Москвой и на Украине. Во всех подразделениях было немало кадровых пограничников. Половина дивизии — коммунисты и комсомольцы.

Нет, такая дивизия создана не только для охранной службы. Конечно, наведение и поддержание порядка в прифронтовом Сталинграде, перегруженном различными тыловыми учреждениями, тысячами эвакуированных, — совсем не простое дело. Но дивизия ждала своего часа. Этот час стремительно приближался.

Немцы, форсировав Дон, двинулись на Сталинград, чтобы с ходу захватить важный промышленный и транспортный узел на Волге, рассеять фронт советских войск на две части, перерезать единственную артерию, соединявшую страну с нефтяными районами.

Первый удар этих фашистских армий приняла 10-я стрелковая дивизия НКВД.

II

Алексей Коваленко хлебнул свежего воздуха, чуть не упал от головокружения и радостно засмеялся. Выжил, а! Жив, елки-палки! А ведь не думал, что выкарабкается.

На этот раз не думал. Когда ранило под Винницей, даже в санбат не пошел. Под Уманью пуля пробила живот. Вылечился — и снова в строй. Опять в тот самый погранотряд, теперь погранполк, где чуть ли не с самого начала был военкомом батальона. Военком батальонный комиссар Карпов только удивленно руками развел:

— Ну и живуч ты, политрук, не сглазить бы! Подумать только, пуля в живот, а он на ногах! Ну давай, воюй.

От Карпова лишнего слова не дождешься. Суров комиссар, ничего не скажешь. А может быть, время такое? Бои, отступления...

Поневоле станешь суровым. Воюй, говорит. Значит, будем воевать. Это хорошо, что остался в строю. Пограничники позарез нужны. Как где прорыв — туда пограничников. Стоять до последнего — опять пограничники. Боевой опыт — он не у всех есть. Сколько пришлось пройти с боями: Львов, Винница, Умань, Николаев, Запорожье... Севернее Запорожья взяли в плен фашистского офицера. Тот заявил: говорить будет только с комиссаром. Привели. А он, негодяй, плюнул на зеленую фуражку. Не сдержался тогда политрук, ударил фашиста. Комиссар Карпов проговорил сквозь зубы:

— Твое счастье, Коваленко, что сейчас не до тебя. Крепко бы ты поплатился. Надо уметь держать себя в руках.

Под Синельниковом оседлали тракт, подожгли немецкие машины. Немцы опомнились, начали отстреливаться. Пограничники кинулись врукопашную. И чуть было опять не кончилась служба политрука Коваленко: расстрелял обойму, а тут фашист с автоматом. На счастье, рядом оказался командир отделения Гончаров и ударом штыка уложил фашиста.

Через сутки попали в окружение. Фашисты сжали кольцо, а наступать не решаются: для них что пограничники, что моряки — одинаково страшны. И вдруг, откуда ни возьмись, — местная девушка, навсегда запомнил ее имя и фамилию — Галя Галич. Провела бойцов по водостоку под железнодорожным полотном.

А в Донбассе, в родных местах, счастье изменило. Вторые сутки удерживали пограничники высоту. Фашисты бросили два полка против остатков батальона, долбили высоту артиллерийскими снарядами и авиационными бом-

бами. А батальон держался. И вдруг — взрыв! Очнулся Коваленко в какой-то избе. Язык не ворочается, уши не слышат, ноги не ходят. Только чуть-чуть шевелятся руки. Увидел комиссара Карпова, хотел приподняться, а сил нет. Суровый комиссар осторожно прижал политрука к кровати: дескать, лежи. Потом вырвал из блокнота листок, написал: «Как чувствуешь себя, Леша?» Коваленко с трудом нацарапал: «Плохо». — «Лечись, Леша. Жив буду, разыщу тебя».

Где ты теперь, комиссар Карпов? И где остатки батальона? Уцелел кто-нибудь или все полегли на той высоте? Ничего не знает политрук Коваленко. Четыре месяца пролежал в сталинградском госпитале глухой и немой. Хотели отправить в далекий тыл. Ласковая врачиха Антонина Федоровна Мартынова написала: «Лешенька, поедешь в Алма-Ату, там тебя вылечат». Все невысказанные слова уместил Коваленко в ответной записке, даже карандаш сломал: «Никуда не поеду! Лечите здесь!»

И вот наконец выписали. Куда теперь? В резерв за назначением? Как пить дать, отправят в глубокий тыл до полного выздоровления на штабную работенку или кем-нибудь по учету материального довольствия. Слово-то какое: до-вольствие. Придумают же! Все равно, что удовольствие! А сейчас есть только одно-единственное удовольствие — бить фашистов.

Да, но что же все-таки делать? Когда прикажут, поздно будет отказываться, надо сейчас искать выход.

Медленно брел Коваленко по городу, всматриваясь в лица, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых. А что, чем черт не шутит! Было же так, и не раз!

...До войны служил на заставе, которой командовал старший лейтенант Клетанин. А в первые дни войны, после окончания Ново-Петергофского военно-политического погранучилища, назначили комиссаром к тому же Клетанину. Пришел, помнится, в батальон ночью, представился по всей форме, потом обнялись, поговорили, вспомнили памятный тридцать восьмой год, ребят с заставы, которых уже нет. И тут же, не откладывая до утра, решил Коваленко познакомиться с батальоном. В третьей роте услышал знакомый голос политрука Василия Красикова, с которым в училище два года просидел за одним столом. Красиков тогда еще страшно переживал, что не ладит Коваленко с русским языком. Все боялся, что не примут Алексея в училище, бегал к начальнику просить за нового товарища.

А начальник училища уже без него решил учить украинца Коваленко русскому языку, да так, чтобы не стыдно было потом за выпускника.

И вот сидит политрук Вася Красилов с бойцами своей роты, о чем-то говорит с ними и не видит в темноте, что рядом стоит Леша Коваленко. «Может, по голосу признает?» — думает тот.

— Вы из какой роты, товарищ политрук?

— Из этой.

— Бой давно был?

— Часов шесть на... А кто вы такой? Почему спрашиваете?

— Мне интересно, Вася, знать, как ты тут живешь.

— Лешка!

— Пусти, черт, раздавишь. Ну я, я.

— А мне говорили, что ты погиб.

— Значит долго жить буду...

Где они теперь, Клетанин, Красилов? Может быть, в этом городе? Говорят, здесь собралось много пограничников. Вон мелькнула зеленая фуражка. Еще одна. Далеко, не нагнать. А вот человек в зеленой фуражке идет навстречу. Пойдите, пойдите, да это же Сережка Шаров, тоже дружок из училища!

— Шаров!

— Коваленко!

— Ты где?

— Здесь, в дивизии.

— Пограничной?

— Считаю, что так. Наших много.

— А где штаб? Что, если и я к вам?

Шаров с сомнением покачал головой:

— Пожалуй, не возьмут. Очень ты слабый.

— Попробую. Хуже не будет.

В большой комнате сидели полковой комиссар и полковник. Как политработник, Коваленко решил поговорить с комиссаром:

— Разрешите обратиться?

— Слушаю вас.

— Товарищ полковой комиссар, выписанный из госпиталя политрук погранвойск Коваленко прибыл в ваше распоряжение.

— Смотри ты, какой орел! — рассмеялся полковник Сараев. — Наш, Петро, а?

— Наш, — подтвердил полковой комиссар.

По залитой горячим солнцем полуденной степи идут два бойца в зеленых фуражках — большой и маленький. Чуть впереди старый бык, лениво помахивая хвостом, тянет крестьянскую повозку, в которую аккуратно уложен станковый пулемет и последняя коробка с лентой. Жарко, идти тяжело. Хорошо, что попался бык с повозкой: не надо тащить на себе пулемет. Но автоматы висят на груди, хотя ремни и трут мокрые от пота шеи: какой же солдат расстанется даже на минуту с автоматом? Мало ли что может за эту минуту произойти!

Притихла степь, замерла. Отгремели по ней солдатские сапоги и ботинки, лошадиные копыта, орудийные колеса. Можно подумать, что земля просто изнашивает от полуденного зноя, а степняки пережидают жару в домах... Если бы не знать, что фашисты прорвали оборону и форсировали Дон, что наци войска ушли к Сталинграду и что вот-вот раздастся в степи чужая речь, загремит топот чужих сапог...

Недолгое тревожное затишье перед бурей или грозой. Даже суслики не пересвистываются, не выглядывают из норок — притихли, словно и им передалась разлитая по степи, висящая в воздухе тревога. Только два бойца идут по степи — большой молчаливый и маленький, ни на минуту не перестающий говорить.

— Ты даже не представляешь, какой у нас город! Сам скоро увидишь. А рыбалка! Дадут нам передохнуть, и сбегает мы с тобой судачков потаскаем. А перво-наперво зайдем ко мне, помоемся, щей похлебаем, по рюмочке пропустим. Сынок, наверное, не признает меня. Три годика было, когда я на границу ушел.

Большой тяжело, сумрачно молчит. Маленький спохватывается, с испугом смотрит на товарища:

— Поговорил бы ты. Все легче на душе станет. Ничего ведь не известно, может, и живы твои...

— Не надо, Федя.

Маленький виновато моргает глазами, потом не выдерживает, опять начинает говорить:

— А раздолье у нас какое! Что в степи, что на Волге. Великая река! Право слово, великая!

Большой чуть заметно улыбается неуместной говорливости своего товарища. Сколько вместе идут, в скольких боях побывали, а он все не может привыкнуть к бесконеч-

ному потоку слов своего некогда случайного, а теперь уже близкого товарища. Если бы в разгар боя под Каневом не погиб второй номер, может, никогда бы не узнали они друг друга. Пулемет тогда замолк неожиданно — второй номер не заправил ленту.

— Патроны!

— Есть! — ответил кто-то.

Не было времени оглянуться и посмотреть, кто появился на месте убитого: фашисты шли густой цепью. Чувствовалось, что рядом опытный боец. Вот только шумит он, не переставая:

— Давай, друг, лупи их в бога душу мать! Что, не нравится? А ну, поддай им еще!

После боя внимательно посмотрел на маленького роста, но широкого в плечах бойца в зеленой фуражке, с выцветшими белесыми бровями, конопатым лицом, спросил:

— Ты чего так орал?

— Разве? А я и не заметил.

— Зовут-то как?

— Федор.

— И я Федор. А по батюшке?

— Сергеич.

— А я Максимыч.

— Меня по батюшке никто не звал. Федя и Федя. Даже на стройке. Бригадиром был, а все Федя. Но я и не обижался, пусть Федя, лишь бы слушали.

— Неужели бригадиром?

— А что? Думаешь, молод? Так я ведь сызмальства приучен. Батя у меня каменщик. Тракторный строил. А я с ним. Как только в школе каникулы, я к батюшке на стройку. Так что, Федор Максимыч, я человек заслуженный, не просто какой-нибудь там шалаяй-валяй. Тракторный строил, понимать надо!

— Фамилия твоя как?

— Иванов моя фамилия.

— И я Иванов.

— Смотри ты! — удивился Федя. — Может, ты еще и волжский, сталинградский? Или казак?

— Нет, я с Украины.

— То-то, я смотрю, чернявый. Семья есть?

Федор Максимович нахмурился.

— Понятно, — проговорил Федя. — Ну что ж, Максимыч, принимай в свой расчет. Будем вместе немцев бить.

...И вот шагают они по необъятной России, от одной позиции к другой, от одной огневой точки к следующей — и все на восток, на восток, на восток. Будет когда-нибудь конец? Думали, на Дону — все вроде бы шло к этому. Поставили их возле переправы и приказали стоять до последнего. Отрыли окоп во весь рост, установили пулемет, замаскировали его. Хозяйственный Федя натаскал остро пахнущей полыни, устал дно — даже на душе веселее стало.

Черта с два бы немцы выкурили их, разве что убили. На войне не без этого. Но сами бы ни за что не ушли. А тут приказ: прикрыть отход наших войск, дать возможность саперам взорвать мост и через час после этого идти к Сталинграду.

Хорошо еще, повозка нашлась. А то бы совсем по этой жаре замучились. Федя не перестает говорить. О чем он сейчас? Ага, о раках — какие они большие, как их надо ловить, а самое главное, варить. Пусть выговорится. Молчать он вообще не может, особенно сейчас, после только что закончившегося тяжелого боя. Не думалось остаться в живых, а вот, поди ты, даже царапин нет. Ох, война, война! Один гибнет от первой случайной пули, а другой выходит целым из всех передраг.

Неожиданно показались дома. Федя засуетился:

— Пройдем еще немного, потом подъедем на попутной машине, вылезем недалеко от центра, свернем налево, к Дар-горе, и сразу моя улица. Покажу тебе дома, которые я строил. Красивые! Оставайся после войны у нас, будем вместе строить.

— Помолчи, Федя.

— Могу и помолчать. С нашим удовольствием. А ты знаешь, какая у меня во дворе вишня? Сколько ей сейчас? Лет пять. Посадил, когда сын родился. Наверное, и урожай собрали.

Город протянулся вдоль Волги длинной лентой. Деревянные дома, каменные, потом опять деревянные... Кусок голой степи, опять дома... Снова кусок степи... А вот разбитое здание, еще одно... Фашистская авиация поработала. Прорвалась-таки, хотя, судя по малочисленным разрушениям, зенитный заслон здесь крепкий.

Недалеко от центра Федя-сталинградец остановился.

— Я сбегаю, Максимыч, а? За полчаса обернусь. А потом придем в батальон, отпросимся и пойдем ко мне.

— Конечно, Федя, что за разговор!

Свернув сигарку, Федор Максимович пристроился в тени. Вообще-то, надо было сначала явиться в часть. Но, кто знает, отпустят ли из батальона и когда еще попадет Федя домой...

А вот и Федя. Быстро обернулся, быстрее, чем обещал. Ну, сейчас начнет рассказывать.

Федор Максимович глянул на Федю — и зажал рот рукой, чтобы не вырвался ненароком крик. За каких-нибудь двадцать минут совершенно изменился Федя: лицо заострилось, глаза запали...

— Что дома? Что?!

Федя не отвечал.

Молча шли они по строгому, озабоченному фронтовому городу. Людей на улицах много — военные, гражданские. Но ни суеты, ни растерянности, ни подавленности. Город уверенно и спокойно готовился встретить врага. Не знал тогда Федор Максимович, что строгий порядок в городе поддерживается бойцами 10-й дивизии НКВД, той самой, в которой, начиная с донских боев, числились и они с Федей Ивановым, что днем и ночью несут ее подразделения, те, что оставались в городе, охранную службу, не допуская паники, распространения слухов, провокаций...

— Смотри ты, какой порядок! — удивился вслух Федор Максимович.

Федя не отзывался.

— Ты бы поговорил, Федя,— робко предложил Федор Максимович.— Все на душе легче станет.

Федя молчал. Только поздно вечером, уже в своем батальоне, вдруг спросил:

— Ты не знаешь, сколько мы немцев уложили?

— Кто же их считал?

Федя сжал голову руками:

— Одна бомба, всего одна... Осталась маленькая ямка. Дом большой, а ямка совсем маленькая... И кровать на дне. Больше ничего. Ни жены, ни сына.

— Война, Федя, что поделаешь...

— Война! — воскликнул Федя.— Нет, это не война, это убийство! Война, когда в нас с тобой стреляют. А женщин за что?! Детей?!

Командир второго батальона старший лейтенант Груздев сразу пришелся по душе Коваленко отличной выправкой, четкой речью, смелостью, решительностью, молниеносной ориентировкой. Груздев человек веселый, общительный, компанейский. К тому же ровесник, со схожей биографией. Оба в раннем детстве хлебнули вдоволь нужды, учились в школе, работали, кончали рабфак, служили в пограничных войсках, прошли через военные училища, воевали с первых дней. Только вот росли в разных местах: Груздев — в Ленинграде, Коваленко — в Донбассе. И еще одно вызывало шутиливую обиду Груздева: он родился 14 октября семнадцатого года, а Коваленко в аккурат 7 ноября этого же года.

— Обскакал ты меня, Лешка,— вроде бы не успокаивался Груздев.— Это ж надо так подогнать — седьмого ноября!

— Не переживай, Аркаша, у тебя все впереди.

— Что же мне, родиться обратно?

— Нет, обратно не получится,— на полном серьезе отвечал Коваленко.— Ты что-нибудь другое придумай. Ну, скажем, в Берлин приди Первого мая.

— А что, брат, это идея! Надо постараться.

Первый и второй батальоны все время действовали бок о бок. И в минуты затишья друзья непременно виделись, чтобы переброситься хотя бы несколькими словами. При встречах Коваленко снабжал друга папиросами и водкой: сам не курил и не пил.

— Святой ты, Лешка, человек,— приговаривал Груздев.— Наверное, и за девками не ухаживал?

— А ты?

— Приходилось,— небрежно отвечал Груздев.

— Смотри ты, успел! — позавидовал Коваленко.

Груздев посмотрел на приятеля и совсем другим, каким-то глухим голосом сказал:

— Ничего я, Алексей, не успел. И если по-честному, очень хочется, чтобы где-то ждала девушка, читала письма, сама писала... Ну ладно, хватит об этом. С таким кислым настроением и воевать трудно. А ты все пописываешь?

Не только Груздев, многие знали, что Коваленко ведет дневник. Ну пишет — так пишет, кому какое дело?

— Для потомства, что ли? — не унимался Груздев.— Тут не знаешь, что тебя через час ждет...

— Это я могу сказать точно: через час немцы пойдут в наступление.

— А может быть, ты мне по секрету сообщишь еще одну мелочь, которая почему-то очень меня волнует: останемся мы с тобой в живых?

— Через час?

— Нет, вообще в живых, в этой войне.

— Не знаю, Аркаша. Чего не знаю, того не знаю. Но если выживем, надо, Аркаша, жить так, чтобы не стыдно было перед погибшими товарищами, перед их памятью. Я, наверное, не совсем складно говорю, но ты меня понял?

— Понял. Только это очень трудно — прожить долгую жизнь без сучка и задоринки, очень.

Коваленко не ответил. Чуть приподнявшись, он смотрел в сторону немцев. Кажется, зашевелились.

— По местам!

Звонко, с надрывом завизжали мины, со свистом пронеслись снаряды. Немцы начали очередную атаку.

Из дневника Коваленко:

«18 августа. Тяжелые бои между Волгой и Доном. В нашем тылу появились фашистские корректировщики огня с ракетницами. Прочесали тыл, выловили троих.

Обстановка сложная и напряженная, а я себя чувствую легко и хорошо. Может быть, потому, что здесь много пограничников и я снова, как когда-то на заставе, в крепкой, дружной пограничной семье: комвзвода Николай Ковинько, командир конной разведки Виктор Лозовой, командир взвода Андрей Синенко, только что окончивший пограничное училище, командир взвода моего батальона старшина Николай Волков и многие другие.

Кого только не встретишь в нашем батальоне! Украинцы, грузины, татары, казахи, узбеки — интернационал! Командует батальоном старший лейтенант Морозкин из Белоруссии. Ординарцем у меня Сулейман Сулейманов из Баку. Ходит за мной, как нянька за малым дитем: то чаю горячего припасет, то вдруг умудрится картошки по-домашнему нажарить. А ведь мы с ним одногодки:

обоим вот-вот стукнет по двадцать пять. Четверть века, а? Треть жизни! А что я сделал такого, чтобы можно было записать себе в актив? До войны (подумать только, как давно это было,— до войны!) я работал секретарем сельсовета. Председателем был красный партизан орденоносец Семен Арсентьевич Бережнюк. Густые прокуренные усы, рябоватое лицо, пустой рукав старого пиджака заколот английской булавкой. Вечерами, когда мы оставались одни и Бережнюк рассказывал мне о своей жизни, он непременно повторял: «Жить, Леша, надо с пользой для людей. Не для себя,— поднимал он свой желтый палец,— а для людей! Вот ты глянь на звезды — все они светят одинаково. А запоминаем мы ту, что промчалась и след оставила».

Любил порассуждать Семен Арсентьевич Бережнюк. Не знаю я как насчет звезд, а про жизнь он правильно толковал. Вспомнишь его — и крепко задумаешься: а так ли я живу? Ну, пятый год в армии, три года в партии, с первого дня воюю, два раза ранен... А вот если бы как у звезды яркий след. Но, может быть, жить ради яркого следа, значит, жить только для себя? Надо честно выполнять свой долг — партийный, воинский, гражданский. Это и будет настоящей жизнью. А вспомнят ли, не вспомнят — какая разница? Тем более сейчас. Лишь бы прогнать фашистов и зажить так, как до войны. Даже лучше!

Однако расфилософствовался я почище Семена Арсентьевича. Вот что значит внимательный, прилежный ученик! Ну да ладно, не такая большая беда порассуждать с собой, пока есть возможность. Как знать, когда еще выпадет свободная минута?

20 августа. Задержали двух бойцов с пулеметом в повозке. Документы в порядке, только что из боя, идут в свою часть. Оба пограничники, оба Федоры Ивановы. Сколько же в России вот таких Ивановых!

26 августа. Прибыл связной и рассказал о налете вражеской авиации на Сталинград. Теперь понятно, что за черные столбы дыма и зарево мы видели отсюда. Проклятые фашисты! Давить их, чтобы следа не осталось!

Поступило сообщение, что 282-й полк нашей дивизии ведет тяжелые бои на северной окраине города. Это там, где тракторный. Сколько мы слышали об этом заводе, как рвались на его строительство, хотя были слишком малы! Все думалось, что вот-вот выдастся свободное время и непременно поеду в Сталинград, посмотреть город, Волгу, тракторный завод. Но где оно было у нас, свободное время! Я даже не припомню, был ли хоть раз в отпуске. Работал в сельсовете, затем вел в школе физкультуру, в каникулы трудился в колхозе. А потом армия, погранвойска, училище и война. Интересно, что же делают люди во время отпуска, чем они занимаются долгий месяц? Ну разве что едут в Москву на Красную площадь, в Ленинград, Сталинград... Так это неделя, от силы две, а потом?

29 августа. Нашему 270-му полку приказано немедленно двигаться в Сталинград. Вот и увижу город. Только теперь двумя неделями не обойдешься. Если не убьют, то из Сталинграда не уйду, пока не покончим с фашистами.

Получили пополнение — 130 ополченцев, рабочих металлургического завода «Красный Октябрь». Сформировали из них роту».

V

Телефон звонил непрерывно, связные прибывали каждую минуту. Донесения поступали одно тревожнее другого. Противник форсировал Дон... Гитлеровцы прорвали наш фронт и стремительно двинулись на Сталинград... Передовой отряд танкового корпуса фашистов нацелился на северную окраину города... Танки противника продвигаются в сторону поселка Рынок...

На лице сержанта-связиста такая тревога, что Сараев не удержался:

— Что, сержант, плохи дела?

— Не могу знать, товарищ комдив.

В другое время Сараев непременно обратил бы внимание на это небольшое нарушение устава, когда бойцы, особенно кадровые, старослужащие, обращаются к вышестоящим не по их воинскому званию, а по занимаемой

должности, которая звучит солиднее звания. Но сейчас не до этого.

Сараев склонился над картой. Он мучительно раздумывал над тем, как прикрыть небольшими силами в пятнадцать-шестнадцать тысяч человек фронт, растянувшийся вдоль города на пятьдесят километров? Как выстоять против огромных сил противника до подхода наших армий, которым надо сейчас, после кровопролитных боев на Дону, перегруппироваться, пополниться, восстановить свои силы? Маневрировать! Только маневрировать имеющимися подразделениями и частями, оперативно перебрасывая их в нужный момент на решающий участок. Теперь таким участком является северная окраина города.

Фашисты, очевидно, решили прежде всего захватить тракторный завод. В инженерном отношении северная окраина укреплена неплохо. Но передний край обороны не заминирован. Да и сил здесь мало, ох мало! Учебный танковый батальон и рабочие истребительные отряды. Правда, по берегу Мокрой Мечетки вкопано около тридцати танков. Но пехотное прикрытие никуда не годится, автоматов мало.

Надо усилить северную часть города. Немедленно! Кого же сюда? Резервный 282-й полк.

Сараев провел по карте красную стрелу, начертил кружок и написал в нем «282 СП». Кузнецов одобрительно кивнул:

— Там комиссаром Карпов Афанасий Михайлович, крепкий человек, с боевым опытом, пограничник.

Если бы мог услышать эти слова политрук Коваленко, давно уже и безуспешно разыскивающий своего военкома Карпова, с которым пришлось столько трудных верст пройти на восток! Но Коваленко со своим батальоном только подходил к южной окраине города.

— Готовь приказ, Василий Иванович,— сказал Сараев начальнику штаба Зайцеву.

— Есть, Александр Андреевич,— отозвался тот.

Они хорошо дополняли друг друга — командир дивизии, комиссар и начальник штаба. Не всегда случается на войне такое. Но уж если случается, что три таких начальника не просто сработались, а на самом деле дополняют друг друга, это счастье для всей дивизии, для ее личного состава.

Сурового Сараева уважали, но и боялись. Знали, что не простит ни малейшей оплошности. И тогда искали защиты

у комиссара Кузнецова. В отличие от комдива Кузнецов внимательно и терпеливо выслушивал любого, докапывался до причин проступка и если даже наказывал, то человек понимал, что так надо: провинился — отвечай. Недаром Кузнецова любовно называли за глаза «наша совесть» — умел комиссар войти в положение человека. А вот начальнику штаба Зайцеву некогда было заниматься каждым в отдельности. Но когда он разрабатывал план боевых действий, то прежде всего думал о бойцах и командирах и старался провести любой бой с минимальными потерями, хотя на войне не всегда это возможно.

Внешне они тоже дополняли друг друга: хмурый, словно высеченный из камня, Сараев; мягкий, улыбчивый Кузнецов; озабоченный, весь ушедший в военные карты, сутуловатый Зайцев. И еще одно сближало этих трех разных людей: давняя военная служба и граница, которой каждый из них отдал немало лет.

— Рассылай связных, Василий Иванович!

— Есть!

Сараев снова склонился над картой.

— Будем вперед смотреть, комиссар. Северной окраиной немцы не ограничатся. С минуты на минуту надо ждать их на юге, а потом и в центре. Как смотришь, если на юг мы двинем 271-й полк, а в центре оставим 272-й?

— Трудно будет Савчуку одному.

— Могу ответить твоими же словами: командир 272-го полка майор Савчук прошел суровую службу на Дальнем Востоке, опытный, боевой человек. И пограничников в полку много.

— Добро! Пусть будет так.

Донесся гул самолетов.

— Что еще там? — недовольно поднял голову Сараев. Связист протянул трубку.

— Слушаю! Да! Что?! Вы не перепутали со страху? Понятно! Продолжайте наблюдение!

Положив трубку, Сараев сказал:

— Беги, комиссар, в 272-й полк. Торопи! Наблюдатели сообщают, что на город летит более ста самолетов. Надо, чтобы полк успел пройти...

Кузнецов ушел. И тут же раздался визг бомб, грохот взрывов, треск развалившихся домов.

— Всем в город! — скомандовал Сараев. — Тушить пожары, спасать жителей!

Город вспыхнул в одну минуту. Жарко горели высушенные солнцем, прилепившиеся друг к другу деревянные дома. Они занимались сразу со всех сторон, пламя жадно съедало их, моментально превращая синие, голубые, желтые веселые домики в одинаково черные и страшные пепелища. Большие каменные здания держались дольше. Но огонь, сжигая все внутри, вырывался наружу, подтачивал стены, и дома рушились, превращались в груды обугленного кирпича и раскаленного железа.

А бомбы сыпались, сыпались и сыпались. Черный едкий дым закрыл небо, потушил солнце. Раскаленный воздух обжигал грудь. Кричали женщины, плакали дети, стонали раненые...

Многочасовая, планомерная бомбежка города. Такого не знала ни одна война. Дьявольский план фашистов был рассчитан на то, чтобы парализовать город и жителей, подавить их волю к сопротивлению.

Но как же плохо знали фашисты советских людей, русский народ! Оглушенные, раненые, истекающие кровью сталинградцы спасали свой город. Пятьсот орудий корпуса ПВО били по немецким стервятникам, истребители 102-й авиационной дивизии встретили фашистские бомбардировщики в воздухе. Слишком неравными были силы, чтобы остановить бомбежку, слишком неожиданным был удар фашистов, чтобы защитить город. И все же в тот страшный день было сбито девяносто самолетов противника.

Добровольные пожарные дружины тушили пожары, хотя водопровод вышел из строя и воду надо было брать из Волги. Спасательные команды откапывали заваленных, вытаскивали раненых, собирали в укрытия женщин и детей...

Из воспоминаний бывшего командира 10-й дивизии НКВД генерал-майора А. Сараева:

«Еще накануне, в первой декаде августа, а точнее, 10 августа я был назначен начальником гарнизона Сталинграда. Передо мной и перед дивизией встала сложная задача — обеспечить железный порядок в прифронтовом городе. Комендантом гарнизона оставался майор Демченко. В штат дивизии введен заместитель командира ди-

визии по гарнизонной службе. Работали мы в тесном контакте с чекистами, которых возглавлял опытный, энергичный А. И. Воронин.

К 15 августа из города были выведены все тыловые учреждения войск. Сталинградский обком партии принял постановления: «О частичной разгрузке города Сталинграда», «Об эвакуации всего гражданского населения из района боевых действий Красной Армии», «Об эвакуации детских домов из пределов Сталинградской области». На основании этих решений к 20 августа было эвакуировано до 100 тысяч человек.

Начали работать районные военные комендатуры. Им подчинялись райвоенкоматы, милиция, пожарная охрана, военизированные формирования.

Все эти и многие другие меры, активная поддержка наших действий со стороны партийных организаций города дали возможность навести порядок, подготовиться ко всяким неожиданностям. И когда 23 августа враг начал варварскую бомбежку города, на борьбу с огнем, на спасение жителей вышли подразделения милиции, пожарные отряды, дружины добровольцев».

* * *

...Закутав лицо мокрой тряпкой, оперуполномоченный милиции Харламов бросился в горящий дом. В далеком углу раздавался детский плач. Но разве что-нибудь увидишь в наполненной дымом комнате? Перебравшись в угол, Харламов нащупал кровать. Никого! А плач совсем рядом. Может быть, за стеной? Здесь нет. Но где же, где? Еще несколько минут — и никакой помощи никому Харламов не окажет, сам свалится. А не под кроватью ли? Так и есть. Схватив ребенка, Харламов выбежал на улицу, сунул девочку кому-то в руки и побежал в следующий дом.

Из одного дома в другой, из другого в третий... Там ребенок, здесь старики, тут потерявшая сознание женщина... Что же сейчас делается в собственном доме? Сбегать бы... Но как уйдешь, когда и здесь беда у людей? Есть же и там кто-нибудь — придет на выручку.

Рядом рухнул дом. Сноп искр взметнулся к небу. Харламов выбежал на улицу и увидел оперуполномоченного Чигарева.

— Ты у себя был?

— Что случилось?

— Соседи твои говорили... Может, ошиблись... Никто не успел выбежать из дома...

Харламов пошатнулся.

Двадцать девять человек вытащил в тот день из огня оперуполномоченный Харламов. Сто пятьдесят человек переправил через Волгу Чигарев...

А город горел, горел, горел... Толпы жителей шли к Волге, уже не обращая внимания ни на взрывы, ни на бомбы, ни на огонь — страшнее, чем было, ничего уже быть не могло.

По горящему городу пробивались через огонь бойцы 282-го полка. Спешили туда, где появились фашистские танки. Комиссар полка Карпов пропускал мимо себя бойцов.

— Запомните эту страшную картину, товарищи! И никакой пощады убийцам! Стоять до последнего!

К вечеру полк занял оборонительный рубеж на северной окраине города.

VII

Огневая точка Ивановых оказалась над самым обрывом Волги. Отсюда хорошо был виден город, его зеленые улицы, белые дома.

И вдруг все затянуло дымом. Померк день, почернело небо.

— Смотри, Максимыч, смотри!

Не обращая внимания на близкие взрывы, стояли во весь рост два пулеметчика и беспомощно смотрели, как нарядный, уютный город превращается в груды развалин.

— У, проклятые! — закричал Федя, вскинув вверх кулаки.

Федор Максимович молчал. Только кровь из прикушенной губы текла по подбородку.

— Ты видел? Понял? — прерывающимся голосом проговорил Федя. — Так вот, отсюда я никуда не уйду! За Волгу мне пути нет.

Бессознательным движением, как человек, который не знает, куда себя девать, и ищет, чем бы заняться, он вытряхнул содержимое карманов — кисет, кресало, пуговицы, аккуратно свернутую для курева газету, письма... Потом вытащил полосатую рукавичку без указательного пальца.

— Что это? — спросил Федор Максимович.

Федя вынул из рукавички листок бумаги, протянул товарищу. Листок был исписан детской рукой:

«Дядя, убей Гитлера! Папа мой тоже бьет Гитлера, а маму убила бомба. Я живу с бабушкой далеко. Гитлер меня не достанет, но бабушка сказала, что и мы должны помогать бить всех гитлеров. Я связала рукавичку, а пальчик оставила свободным, чтобы лучше нажимать крючок, так сказала бабушка. Рукавички теплые, носи их на здоровье».

— Откуда? Кто писал? — взволнованно спросил Федор Максимович.

Федя бережно спрятал рукавичку с запиской в нагрудный карман гимнастерки.

— Не знаю. В роту пришла посылка. Убьют меня, возьми рукавичку себе. Сам не доживешь — передай другому. Мне теперь ни днем ни ночью покоя не будет, пока не выполню этот детский наказ.

VIII

Из дневника Коваленко:

«1 сентября. В полку и батальоне побывали комдив Сараев и комиссар Кузнецов. Приказали немедленно заменить зеленые фуражки на полевые пилотки: дескать, демаскируем себя. Досталось Груздеву и мне: сами нарушаем порядок. Правильно досталось, но как заменишь зеленую фуражку, если прошел в ней полстраны? Как других заставишь сменить, если каждый носит ее с гордостью? Решили брать пример с моряков: фуражки носить за пазухой, надевать их в атаку.

3 сентября. Заняли оборону на линии: отметка 112.5 (городское кладбище) — левый берег реки Царицы. Есть здесь такая маленькая речушка, почти ручеек, разрезающий центр города на две части и впадающий в Волгу. Кстати, речка назва-

на совсем не в честь царицы, ее название происходит от татарского слова «сарыса», что означает «желтые пески». Тут сохранилось много татарских названий: когда-то недалеко от города, на левом берегу Волги, находилась столица Золотой орды — Сарай-берке. Сколько же орд повидала Волга! Сколько их лезло на этот город! Теряли здесь головы, а лезут, снова лезут! Ладно, мне сейчас не до исторических экскурсов и аналогий. Жив буду, вернусь в эти края и спокойно обо всем подумаю. Если жив буду...

Справа от нас — батальон 272-го полка. Слева — Аркадий Груздев. Его батальон занимает оборону от реки Царицы до высоты 147 (кладбище на Дар-горе). Очень смешно, что мы с Аркашкой расположились на кладбищах.

В тылу нашего батальона областной больничный городок (его здесь называют совбольницей), железнодорожный мост через Царицу, вокзал, центральная часть города. Там держит оборону 3-й батальон и там же КП нашего полка.

По склону высоты 112.5 мы обнаружили хорошо оборудованные окопы, которые заблаговременно подготовили местные жители. Сначала мы обрадовались было: можно дать отдых личному составу перед боем. Но потом я предложил окопаться метров на 80—100 ниже.

«Зачем?» — удивился комбат Морозкин.

Я обратил внимание на фашистскую «раму», которая с самого утра висела над нами и, наверное, уже сфотографировала линию обороны и окопы. На кой черт подставлять себя под прицельный удар немецкой авиации и артиллерии? Меня поддержал адъютант старший батальона Бершадский. Не успели мы зарыться в землю, как началась бомбежка. Двадцать вражеских самолетов обрабатывали наш участок обороны и батальон Груздева. Хорошо, что мы не расположились в приготовленных окопах.

4, 5, 6 сентября. Бомбят беспрерывно, головы не дают поднять. А наших самолетов не видно. Вчера появились три краснозвездных «ястребка», сбили два вражеских самолета и ушли в сторону Ленинска.

Фашисты вконец обнаглели. Вместе с бомбами сбросили на нас какую-то непонятную штуку: визжит, воеет так, что голову страшно высунуть. Оказалось, что это самая обыкновенная железная бочка с множеством просверленных дырок. Запугать решили? Не на таких напали.

Ночью фашисты сбросили в расположение батальона листовки — белые, розовые, голубые на разных языках народов СССР. Содержание одно: сдавайтесь, сражаться бесполезно, будете жить припеваючи при новом порядке... Командир 3-й роты Михаил Балонин написал на листовке матерное слово, изорвал ее... Балонин нервничает, он ничего не знает о своих родителях, которые остались в этом пылающем городе.

Комбат Морозкин сообщил весть: нам подчинен расчет «катюш». Точнее, не подчинен, а по нашему первому требованию будет поддерживать огнем. Такая привилегия нашему батальону не случайна: мы прикрываем центр города.

На нашем КП был комиссар полка Щербина и оставил текст клятвы, которая была написана в 282-м полку и принята всей дивизией:

«В суровый час, когда враг черной тучей навис над Сталинградом, мы клянемся беспощадно уничтожать ненавистного врага, где бы он ни появлялся. Мы обещаем, что в тяжелый момент не дрогнем перед лицом смертельной угрозы. Мы покажем стойкость, высокую дисциплину, выдержку. Мы готовы лечь костями, но не допустим врага в Сталинград. Мы не потерпим, чтобы среди нас оказались трусы, паникеры. Нет им места в наших рядах. С предателями Родины у нас разговор короткий: уничтожать беспощадно.

Клянемся, что будем достойными сынами своей Родины!»

Разговаривал по телефону с Груздевым. Настроение у него бодрое.

В 17.00 решили с пропагандистом полка старшим политруком Чибисовым помыться. Нагрели четыре ведра воды, загородились простынями, намылились... И вдруг по нашей «бане» фашисты открыли минометный огонь. Пришлось срочно, голышом, в мыле убираться подальше. Вот уж

верно: где тонко, там и рвется. Взрывами опрокинуло наши ведра, вода вылилась. И нам ничего не оставалось, как насухо вытереться, одеться и сделать вид, что ничего особенного не произошло. Чибисову хорошо — умчался в полк. А я должен переносить улыбки наших медичек — Клавы Шаповаловой и Гали Панасенко.

В расположение батальона прислали тридцать две собаки с вожатыми для борьбы с вражескими танками. Командиру отряда младшему лейтенанту Петюнину приказано оседлать главную дорогу, которая ведет в центральную часть города.

Сегодня ночью будем принимать в партию Лепихина и Волкова. Собрание готовит парторг Бардюжа. Лепихина я еще не успел узнать. А с Волковым хорошо знаком. Старшина, командует взводом, пограничник храбрый. Накануне ходил с двумя бойцами в разведку. Взяли «языка».

Осколком в голову и в грудь убит адъютант Бершадский. Обидно! Боевой был командир. Много перенес с начала войны.

7 сентября. Командир 3-й роты Балонин доложил, что фашисты готовят танки. Значит, вот-вот начнется и на нашем участке. На танковом направлении стоит рота Балонина. Направили в эту роту комсорга батальона Нептухо. За Балонина можно быть спокойным: не дрогнет, не отступит. Крепкий человек сталинградец Михаил Балонин.

После массированного артиллерийского и минометного обстрела фашисты предприняли атаку на подразделения 42-й морской бригады. Мы решили вызвать реактивную установку и дать залп по атакующим. «Катюша» сделала свое дело. Атака захлебнулась».

IX

Первый удар отбит.

Встретив сопротивление 282-го полка и истребительных рабочих отрядов, фашистские танки повернули в сторону высот у поселка Рынок.

Ночью боевые действия прекратились. Военком 282-го полка Карпов решил осмотреть передний край

обороны северной части города. Накануне не удалось этого сделать: вырвавшись из горящего города, полк с ходу вступил в бой. Хорошо бы дать бойцам отдохнуть. Но с рассветом фашисты снова попрут на город. Недолгую передышку надо использовать для укрепления линии обороны. Ничего не поделаешь, на войне не всегда удается отдохнуть.

Высокий, с широко развернутыми плечами, туго затянутый в ремни, так и не успевший сменить зеленую фуражку, Карпов пробирался от одного окопа к другому.

— Как дела, комсорг? — обрадовался Карпов, увидев младшего лейтенанта Лиду Сошникову.

— Держимся, товарищ комиссар.

Несмотря на молодость, Лида уже опытный политракторник, стойкий воин. Добровольцем ушла с третьего курса московского педагогического института на фронт, боевое крещение получила в боях за Москву. Небольшой педагогический опыт пригодился в полку, бойцы и командиры оценили душевность Лиды, ее умение говорить с людьми. Потому и стала Сошникова комсоргом полка. Нелегкая это должность. Те же бои, атаки, тот же свист пуль и разрывы бомб, что и для всех. А вот держаться надо крепче, потому что ты — комсомольский вожак полка. И отдыхать приходится меньше, а то и совсем без отдыха: надо поговорить с бойцами, кого-то подбодрить, в кого-то вселить уверенность.

— Трудный завтра день, Лида.

— Ничего, Афанасий Михайлович, не привыкать.

В одном из окопов Карпов увидел пулеметчика Чагина. В темноте, на ощупь, колдовал пулеметчик над своим «максимом», готовя его к завтрашнему бою.

— В порядке? — спросил Карпов.

— А как же!

Карпов лег к пулемету, привычным движением оттянул рукоятку, уловил четкий щелчок.

— Хорош! — похвалил, вставая, комиссар. — Будет завтра работенка. Может статься, что основной удар придется на твой пулемет.

— Может быть, — спокойно согласился Чагин.

— Выдержишь?

— А как же! Иначе быть не может.

Вплотную к полку, с левого фланга, примыкала линия обороны ополченцев. Внимательно всматривался Карпов в лица рабочих, молодых и старых.

— Вы кого ищете, товарищ комиссар? — остановила его женщина с винтовкой.

— Никого, знакомлюсь.

Карпов назвал себя. Представилась и женщина: секретарь Тракторозаводского райкома комсомола Лидия Пластикова.

— Вы сталинградка? Давно на заводе?

— С первого дня. Семитысячница.

Карпов с уважением посмотрел на женщину. О семи тысячах комсомольцев, приехавших в степь под Сталинградом строить первый в стране тракторный завод, он слышал в свое время много. Сам хотел ехать, но получилось иначе: ушел в пограничные войска.

— Все в отряде семитысячники?

— Ну что вы! Есть постарше, есть и младше, но все заводские. Москалев Иосиф Алексеевич воевал еще в армии Буденного, а Леня Супоницкий только-только десятилетку окончил, всего месяц на заводе. Вы не обратили внимания на слова на асфальте площади Дзержинского?

— Не заметил. Мы шли форсированно.

— Леня написал перед уходом сюда: «Фашисты, вы не пройдете! По вашим пятам идет смерть. Здесь вы найдете свою могилу». Да так крупно, что, по-моему, с самолетов видно. Он у нас художник, Леня Супоницкий. Вот и оформил на площади специальный выпуск газеты.

— А рядом с вами кто в обороне?

— Краснооктябрьцы. Командиром у них рабочий листопрокатного цеха Позднышев, комиссаром Сазыкин. Вы никогда не слышали о первой в стране женщине-сталеваре Ольге Ковалевой?

— Как же, слышал.

— Она тоже в отряде. Вон там ее окоп. А за краснооктябрьцами — рабочие Дзержинского района. Так что вместе воюем, товарищ комиссар.

Карпов пожалел, что нет времени познакомиться друг с другом бойцов полка и воинов истребительных отрядов. Как было бы здорово, если бы бойцы своими глазами увидели прославленных сталинградцев, рабочих знаменитых заводов. Да, лучшей зарядки перед боем не придумаешь. Ну что же, живы будем — познакомимся. Пока придется лишь рассказать личному составу о соседях, назвать фамилии. И непременно сообщить о газете, которую на асфальте площади оформил Леня Супоницкий.

С рассветом фашисты повели атаки на позиции 232-го полка и рабочего батальона. Видно, разведали, гады, что войск мало и, если преодолеть этот неплотный заслон, можно ворваться в город, во всяком случае на его северную окраину, овладеть тракторным заводом.

Зеленые танки с крестами на броне карабкались на высокий обрывистый берег Мокрой Мечетки. За танками двигалась вражеская пехота. Не обращая внимания на бронированные чудовища, Чагин прикидывал расстояние до пехоты. Танки не по его части, пулеметом их не оставишь. Хотя, если очень постараться, можно вклепать в смотровую щель — у себя на Урале Чагин считался одним из лучших охотников. Но танками займутся другие. На войне, как и на любой работе, каждый должен заниматься своим делом.

Ага, заговорили истребители танков. Вспыхнула одна машина, другая...

Упал парнишка в гражданской одежде... Схватила за грудь и медленно, словно нехотя, сползла на землю женщина в брезентовой рабочей куртке... Не те ли самые Леонид Супоницкий и Ольга Ковалева, о которых рассказывал ночью комиссар?

Чагин нажал на спусковой крючок. Пулемет затрясся, словно от долгого нетерпеливого ожидания. Вражеская пехота залегла.

А вскоре фашистская атака захлебнулась. Немцы отошли на свои позиции.

* * *

Комиссар допрашивал пленного унтер-офицера. Высокий, здоровенный детина с нескрываемой ненавистью смотрел на зеленую фуражку и звезды на рукавах гимнастерки.

— Чего он уставился? — спросил Карпов.

— Он говорит, что впервые видит комиссара, да еще пограничника, — сказал переводчик. — Он понимает, что его расстреляют, и готов умереть за фюрера.

— Переведи ему, что он дурак, — устало проговорил Карпов. — Так и скажи: ду-рак! Пусть лучше рассказывает все, что знает.

Немец возмущенно заговорил. Переводчик едва поспевал за ним.

— Вы воюете не по правилам. Я прошел всю Европу и нигде не видел, чтобы в танках были гражданские люди, а из винтовок стреляли женщины. Это черт знает что такое! Немецкая армия привыкла воевать с солдатами противника, а не с гражданским населением.

— Ну, с кем привыкла воевать немецкая армия, это мы видели,— перебил Карпов.

— Я не отвечаю за действия авиации.

— Врешь! За все отвечаешь! Даже за своего ненормального Гитлера! Правила тебе нужны? Каждый камень будет стрелять. И хватят теоретических споров. Фамилия, часть, откуда прибыл?

Немец вскинул голову:

— Я отказываюсь отвечать на эти вопросы.

— Отправьте его в дивизию,— махнул рукой Карпов.— Там заговорит.

— Меня расстреляют? — побледнел немец.— Я могу сообщить ценные данные...

— В дивизии сообщишь. Уведите его.

Долго разговаривать с пленным не было времени: командование дивизии поставило перед полком задачу перейти в контратаку и отбросить немцев. Решение, может быть, и дерзкое, если учесть значительные силы противника. Но лучший вид обороны — это наступление. Да и не мешает прощупать фашистов, а если все будет успешно, хоть на какое-то время ликвидировать опасность захвата города.

В одиннадцать часов началась артиллерийская подготовка. Дивизион «Красного Октября» работал хорошо. Танковые пушки давили пулеметы противника. Но огонь все же был слабым. Находящиеся в полку командир дивизии Сараев и комиссар Кузнецов сразу поняли это. Однако отменить атаку поздно, да и не нужно: бойцы рвались штыком пощупать немцев.

Захватив здание дирекции совхоза, подразделения полка ворвались на южную окраину лесопосадки, уничтожили в рукопашной схватке засевшего там противника, двинулись дальше, но были остановлены сильным заградительным огнем. Три раза бросались в атаку бойцы и каждый раз натыкались на сплошную стену огня. К вечеру полк вынужден был прекратить атаки.

Фашистская контратака началась 26 августа во второй половине дня после жестокой артиллерийской и авиационной подготовки.

Василий Чагин расчетливо расстреливал немецкие цепи. Какое-то шестое чувство, необъяснимое чутье подсказывало бойцу, куда перенести в нужный момент огонь, где дать очередь погуще, когда пройти низом и в какую минуту резануть поверху. Впрочем, если бы кто-то сказал Чагину о чутье, молчаливый пулеметчик пожал бы недоуменно плечами. Просто работа. Не совсем обыкновенная и, может быть, не очень привычная, но настоящая солдатская работа, которую Чагин выполнял со всей присущей ему добросовестностью. Вот только немецкая артиллерия мешает. Видно, заметили фашисты пулемет Чагина и решили забросать его снарядами. Ну что ж, пока забросают, можно будет еще не один десяток фашистов уложить.

И вдруг совсем близкий свист снаряда, оглушительный взрыв. Чагин увидел бросившуюся к нему Лиду Сошникову и уже неживой рукой из последних сил показал ей на замолчавший пулемет. Прикрыв лицо убитого зеленой фуражкой, Лида легла за пулемет. Она успела выпустить лишь несколько очередей. Кто же мог знать, что фашисты пристрелялись к этому месту и решили во что бы то ни стало заставить замолчать пулемет? Может быть, следовало сменить позицию? Наверное, так. Но кто думал об этом в разгар боя? И снова свист снаряда, взрыв и чей-то отчаянный крик:

— Лиду убили!

Из воспоминаний бывшего комсорга 282-го полка Л. Сошниковой:

«Меня не убили, я осталась в живых. После боя меня вытащили бойцы нашего полка и отправили в медсанбат. Только потом я узнала, что и эта фашистская атака сорвалась, полк и истребительные рабочие отряды выстояли. На этот раз помогли собаки — истребители танков. Со слезами на глазах направляли вожатые своих четвероногих друзей под гусеницы вражеских танков. Заглохла одна железная коробка, подорвалась вторая. Нервы у немцев не выдержали. Собаки с минами на спинах приводили в ужас фашистских танкистов. Они повернули назад. За ними бежала пехота.

Потом были непрерывные бомбежки и бесчисленные атаки. Были бои в окружении. В батальонах остались считанные люди. И все-таки мы про-

держались до подхода подкрепления. Сейчас, десятки лет спустя, есть время, чтобы оглянуться на прошлое и понять, как же все-таки нам удалось продержаться. Об этом уже много сказано и написано. А тогда мы просто дрались, зная, что позади нас Волга, что стоять мы должны насмерть и что отступить нам больше некуда».

* * *

Сильно поредевшим подразделениям 282-го полка было приказано повторить атаку и выбить фашистов с господствующих высот. Одновременно будет наступать небольшая группа, сформированная из остатков танковой бригады и морского отряда. Но и этой группе ставилась своя задача.

Военком Карпов читал переведенное на русский язык письмо, найденное у убитого фашиста:

«Эти бесконечные наступления русских совершенно для нас неожиданны и непонятны. Какие-то ненормальные люди. Казалось бы, чего уж сопротивляться, когда на город двинулась такая махина войск, когда фюрер бросил сюда самые отборные силы. Европа не устояла против немецкого оружия и духа, против идей великого фюрера! А они еще пытаются наступать. Гибнут под пулями, от мин, снарядов, от нашей авиации, которая здесь безраздельно владеет воздушным пространством и каждый день обрушивает на город боевые удары. Гибнут, но держатся. Говорят, против нас действует дивизия НКВД, которая состоит из сплошных комиссаров, коммунистов и пограничников. Этим, конечно, терять нечего, потому что при новом порядке, после того как мы завоюем Россию, их всех придется уничтожить. А вот женщины куда лезут, старики, подростки? Представь себе, тоже в нас стреляют, поджигают танки, убивают наших солдат. Вот уж не думалось, что после работы нашей авиации кто-нибудь в этом городе уцелел. А тут, оказывается, даже заводы действуют, тракторный ремонтирует под нашими бомбами танки и отправляет их в бой. Дикая страна, непонятные люди».

— Политработников ко мне! — распорядился Карпов. — Письмо довести до сведения каждого бойца. Как, Митрофан Григорьевич? — обратился он к командиру полка майору Грущенко. — По-моему, это как раз то, что нам перед атакой надо. Лучше, чем этот фашист, мы сами про себя не скажем. Мне думается, что такое письмо не грех и в газете опубликовать.

— Пора, военком, — посмотрел на часы Грущенко.

Атака началась трудно. Фашисты открыли интенсивный заградительный огонь. Но на этот раз бойцам удалось прорваться до первых вражеских окопов. Немцы не приняли штыкового удара и отошли на вторую линию. Полк преследовал врага. Казалось, еще немного, и фашисты будут сброшены с высот.

Но вдруг открыли огонь молчавшие до сих пор пулеметы. Левый фланг полка залег. Карпов попробовал было поднять бойцов, но вражеский огонь косил людей. Если фашисты опомнятся, они сомнут фланг, ударят по соседям, и тогда пропадет небольшое, ценой многих жизней добытое преимущество. Еще не поздно, еще можно спасти положение, но как, как?.. Танк! Есть поблизости танк? Вот он! Захлопнув крышку люка, Карпов приказал командиру танка идти напрямую, сквозь заградительный огонь. Следом за комиссаром двинулся второй танк с политруком третьей роты Грязевым. Осыпаемые градом пуль и осколков, танки рассекли стену огня, добрались до вражеских точек, начали утюжить пулеметы и таранить орудия противника.

Упоенный боем, Карпов не замечал ничего, кроме бегущих фашистов. Он знал, что за двумя танками поднялся весь полк, что огонь противника ослаб, что теперь все решит штыковой удар. Но выходить из боя рано: еще стреляют вражеские пулеметы и орудия. Да и нет сил расстаться с этим ни разу еще толком за всю войну не испытанным чувством превосходства над врагом, нет сил оторвать глаз от бегущих в панике фашистов. За долгие и тяжелые месяцы отступления, за длинный мучительный путь от самой границы до Волги случалось — и не раз — видеть военкому Карпову бегущих фашистов. Но он не сидел тогда в танке, не давил врага гусеницами, а сам старался не попасть под вражеские машины. Нет, такую полную радость Карпов испытывал впервые. Ну еще немного, и можно считать, что атака удалась, еще немного...

Этого «немного» не было отпущено военному Карпову. Кто может на войне знать, откуда идет опасность! Казалось, всех подавил танк, не осталось ни одной огневой точки. Но кто-то из вражеских артиллеристов все же изловчился и ударил в броню танка.

Не увидел военком Карпов конца своей атаки. Не дожидаясь до этого времени и политрук Грязев, вырвавшийся вперед после смерти военкома и возглавивший в своем танке атаку: пуля пробила партийный билет и остановила сердце героя.

А бой продолжался. Опомнившиеся немцы вновь завладели высотами и начали наступление на заводскую окраину.

* * *

Непрерывные тяжелые бои шли по всему городу. Гитлеровцы рвались к центру Сталинграда. Им противостояли 272-й и 270-й полки. 271-й полк держал оборону южнее, в районе Верхней Ельшанки. 269-й полк сражался на подступах к Мамаеву кургану.

10-я дивизия была уже закалена в огне, проверена на стойкость и мужество. Боевой опыт 282-го полка, который первым столкнулся с гитлеровцами, изучался во всех частях дивизии. Впрочем, особенно заниматься наукой было некогда: гитлеровцы остервенело перли на город. Но самое главное дивизия усвоила твердо: во что бы то ни стало держаться до последнего.

Командир 272-го полка майор Савчук выслушивал боевые донесения: «...Немцы рвутся к центру города», «...Фашисты ударили по ложнине реки Царицы», «...Танки фашистов ворвались в расположение третьего батальона», «...Фашисты жмут на правый фланг полка», «...Дрогнула оборона девятой роты».

— Я пошел, военком,— сказал Савчук.— Останешься здесь.

— И я с тобой,— поднялся комиссар полка Щербина.

— Нет. Слишком жирно для фрицев ухлопать сразу обоих.

Забрав взвод автоматчиков, Савчук побежал в девятую роту.

...От роты осталось пятнадцать человек. И самое страшное — кончились боеприпасы. Из своего окопчика младший политрук Яковлев прикидывал расстояние до

ближайшего фашистского танка. Гранаты на исходе, и бить надо наверняка. Пусть подойдет ближе, еще ближе...

До чего же тесно и муторно в окопе, вроде бы воздуха не хватает, хотя накануне Яковлев рыл со всей старательностью. Нет, окоп тут ни при чем. Просто привык Дмитрий к простору, раздольным сибирским лесам. И тошно прятать свое большое, налитое силой тело в земляную нору. Но ничего не поделаешь, надо прятать и других к этому приучить. Против танка не встанешь грудью в открытом поле.

Вчера беседовал с бойцами. О доме, о семьях, о войне — о чем еще может накануне боя говорить младший политрук? Кто-то из бойцов спросил, как быть, если кончились боеприпасы, а танки идут на тебя. Как быть? Откуда знать Яковлеву, если воюет он тоже недавно? Одно ясно: не пропускать танки. А как — это уж смотря по обстоятельствам. На то ты и боец Красной Армии, чтобы устоять против врага. Придется — ложись под танк!

— Так страшно же, — сказал кто-то.

— Конечно страшно, — согласился Яковлев.

— А вы бы, товарищ младший политрук, легли? — спросил кто-то.

Надо было сказать, что непременно лег бы. Но почувствовал Яковлев: вряд ли кто поверит в такой легкий ответ. Да и сам не был уверен, что запросто ляжет, — страшно!

— Обстоятельства покажут, — ответил тогда Яковлев.

И вот они, обстоятельства: танки рядом, а гранат всего три. Пора, что ли? Но ведь можно промахнуться, и останутся две гранаты. Нет уж, бить — так наверняка. А для верности привязать гранаты к поясу. Кажется, пора, танк рядом. Выбравшись из окопа, Яковлев ринулся вперед...

Еще издали увидел Савчук, как кто-то бросился под танк. Потом услышал тяжелый взрыв. И вместе с поднимающейся ротой кинулся врукопашную.

Бойцы несли останки младшего политрука Дмитрия Яковлева, взорвавшего танк. Савчук снял фуражку.

— Товарищ майор, — услышал он. — Тут письмо.

Развернув листок, Савчук прочитал:

Я партии сын, и Отчизна мне мать,
В бою я не буду назад отступать,
Друзья пусть и недруги знают.
И если погибну в жестоком бою,

Скажите словами народу:
«Он честно, достойно отдал жизнь свою
В боях с врагом за свободу».

Дмитрий Яковлев,
младший политрук 272-го полка

— Сам, что ли? — удивился Савчук.

— Сам,— подтвердил кто-то из бойцов.— Всю ночь. Я думал, домой, а оказалось вон что.

Красноармеец Ващенко был ранен в ноги. Командир роты Борисов хотел отправить его в тыл.

— Терпеть можно,— сказал Ващенко.

Борисов не стал спорить. Характер Ващенко он знал хорошо: вместе приехали из Сибири, вместе начали войну. Да и лишний человек в роте совсем не помешает.

— Попробую, лейтенант, а? — услышал командир.

Боец показывал на фланговый вражеский пулемет.

— Нет,— отрезал Борисов.

— Почему?

— Не дури, Алексей,— сказал Борисов.— Здоровые не доползли, а ты раненый.

— Опять людей посечет.

— Посечет,— согласился Борисов.

— Так я попробую?

Не ожидая согласия, Ващенко взял гранаты и пополз. Борисов вдруг почувствовал, как вспотели у него руки. Ващенко полз хорошо, прячась в воронки, укрываясь за выступами. Оставалось совсем немного. Вот Ващенко поднялся и тут же упал... Неужели убит? Нет, ползет. Куда же он? Надо бросать гранаты! И вдруг Борисов увидел, как Ващенко метнулся вперед и всем телом навалился на амбразуру.

— Алексей! — закричал Борисов и кинулся к доту. За ним — вся рота. Вражеский пулемет молчал. Бойцы ворвались в дот, расстреляли в упор гитлеровцев...

Всего этого уже не видел Алексей Ващенко...

Х

Мальчонка появился в разгар боя. Ивановы не заметили его. Только потом, когда фашисты откатились и наступила передышка, Федя оглянулся, замер от удивления, толкнул Федора Максимовича.

— Ну что еще? — недовольно проговорил Иванов-высокий, не сводя глаз с фашистов.

— Глянь сюда, глянь.

Федор Максимович обернулся и ахнул:

— Мать честная! Ты откуда взялся?

В нескольких метрах от огневой точки, там, где хозяйственный Федя оборудовал в специально вырытой ямке что-то вроде склада боеприпасов и комнаты отдыха, увлеченно играл блестящими патронами точно с неба свалившийся мальчонка. Лет пять на вид, не больше, в коротких штанишках, на ногах носочки и резиновые тапочки. Судя по всему, в семье, где рос мальчик, ценили чистоту и порядок, аккуратно одевали сына.

Мальчишка поднял голову и спокойно, без удивления посмотрел на бойцов.

— Я хочу есть, — сказал он, шмыгнув носом.

— Это мы сейчас, — засуетился Федя.

Он открыл банку консервов, отрезал ломоть хлеба, налил в кружку воды, отыскал в карманах несколько кусков сахара, выложил все это на плащ-палатку и пододвинул к мальчишке.

Несколько минут прошло в молчании. Мальчишка ел не торопясь, бойцы внимательно на него смотрели.

— Тебя как зовут? — не выдержал Федя.

— Витя.

— Где твои родители?

— Убили.

— Как же ты к нам попал, Витя?

— Не знаю. Шел, шел и пришел.

— А еще где ты был?

— У многих дядей. Только их убивали.

Федор Максимович молча смотрел на мальчишку, на его грязное личико, синие глаза, крошечные ручонки и боялся, что вот-вот вырвется наружу застрявший в груди стон и не выдержит он, немолодой человек, расплачется на удивление этому, ко всему привыкшему мальчишке.

— Где же ты спал? — не успокаивался Федя.

— С дядями.

— А когда один оставался?

— В ямах. Дядя, ты меня научишь стрелять из пулемета?

— Обязательно научу. Ты на какой улице жил?

— Не помню. Дядя, а ты куда нажимаешь, чтоб стрелять?

— Покажу, Витя, все покажу. Фамилия-то как твоя?

— Забыл. Дядя, а тебя тоже убьют?

Федя растерянно заморгал глазами.

— Ты не давай, дядя, себя убивать. А то я опять один останусь.

Федя обнял мальчишку и тут же зачем-то ушел к пулемету. Федор Максимович гладил ребенка по голове. Эх, как перевернули фашисты всю нашу жизнь! Такому крохе ходить бы сейчас в детский садик или бегать по двору с ребятами, а он бродит по горящему городу от одной огневой точки к другой, каждую минуту рискуя быть убитым, разорванным в клочья или на всю жизнь изувеченным. И единственное, что ему хочется,— найти такого дядю, к которому он мог бы прислониться, чтоб согреть свое сердечко, и которого не убили бы, как других. Сколько же в этом городе таких потерявшихся детей! Военком говорил, что после бомбежки у многих родители погибли, рассказывал, что спасательные комсомольские отряды выискивают детей в развалинах, в подвалах, на улицах и с риском для жизни переправляют их на левый берег Волги. Но одно дело услышать и совсем другое — самому увидеть беззащитное, не понимающее опасности крошечное существо.

— Максимыч! — позвал Федя.— Кажется, зашевелились.

— Иду. Пристрой мальчонку, Федя, чтобы пуля не задела.

Схватив лопату, Федя в несколько бросков углубил яму, застелил ее всем, что было из одежды, вплоть до своей гимнастерки, которую он тут же снял, усадил Витю и строго-настрого наказал:

— Сиди и не высовывайся. Ослушаешься — выпорю.

— Больно? — спросил Витя.

— Очень. Солдатским ремнем, а он вон какой толстый.

— А я буду слушаться.

— Молодец! Тогда научу стрелять.

Огневая точка Ивановых, должно быть, крепко мешала немцам.

Атаки следовали одна за другой. Потом начинался минометный обстрел. На это время Ивановы перебирались с пулеметом в заблаговременно приготовленный окоп, пережидали обстрел и возвращались к себе. Как только немцы поднимались в атаку, пулемет заставлял их откатываться. Пока для самих пулеметчиков все конча-

лось благополучно. Но долго продолжаться так не могло — это Ивановы понимали. В конце концов немцы разгадают несложный маневр с соседним окопом, дадут густой артиллерийский залп и накроют пулемет. Но, как говорится, поживем — увидим.

Витя обрадовался, когда в яме, где уже надоело сидеть одному, появился наконец дядя Федя.

— Ну, орел, как ты тут?

— Я не вылезал,— поспешил сообщить Витя, с опаской поглядывая на широкий ремень.

— Молодец! — похвалил Федя.— Сейчас будем ужинать, потом спать.

— Не хочу, я уже ел.

— Ну и что? Ты же хочешь научиться стрелять из пулемета?

— Хочу.

— Тогда ешь побольше. Солдаты, знаешь, как много едят!

— Дядя Федя, а я знаю, почему у тебя и у другого дяди Феде фуражка зеленая. Вас фашисты в траве не видят, правда?

— Правда, Витя. Смотри, ты какой умный! Мы с дядей Федей служили на границе. А там много зеленой травы и зеленых лесов. Вот мы и прятались в траве или в лесу и ловили шпионов. Они нас не видят, потому что у нас фуражки зеленые, а мы их видим.

— Я тоже хочу зеленую фуражку. Меня никто не увидит. А я всех фашистов убью.

— Ну если так, бери мою.

— Насовсем? — недоверчиво спросил Витя.

— Насовсем.

— Спасибо, дядя Федя.

Мальчик нахлобучил фуражку и спросил:

— А ты меня сейчас видишь?

— Нет,— признался Федя, который действительно кроме кончика носа и подбородка ничего не видел.

— Была бы у мамы такая фуражка, ее бы не убили,— совсем по-взрослому, с тяжелым вздохом проговорил Витя.

И опять почему-то срочно понадобилось Феде побежать к пулемету.

Ночью Ивановы смотрели на беспокойно спящего мальчишку.

— Надо его утром отправить,— вздохнул Федор Максимович.

— Куда? Пусть лучше останется у нас.

— Глупости говоришь. Здесь его убьют.

На исходе ночи Федор Максимович ушел. Вернулся через полчаса с девушкой.

— Где ваш квартирант? — спросила девушка.— Дайте его скорее, пока совсем не рассвело.

Разбуженный Витя никак не мог понять, куда его собирают и почему отвернулся в сторону дядя Федя, который обещал научить его стрелять из пулемета.

— Как его фамилия? — спросила девушка.

— Иванов,— сказал Федя.

— А отчество?

— Федорович.

— Ну, Витя, пойдем.

— Куда?

— Поедем с тобой за Волгу. Хочешь?

— Нет. Я здесь хочу, с дядями.

— Мы к тебе приедем,— пообещал Федор Максимович.

— Правда? Только быстрее.

— Приедем, приедем,— подтвердил Федя.— Фуражку не забудь.

Крепко взяв мальчика за руку, девушка повела его к Волге. Два Ивановых молча смотрели на удалявшуюся фигурку в коротких штанишках и надвинутой на глаза зеленой фуражке.

XI

Из дневника Коваленко:

«11 сентября. По всему фронту затишье. Видимо, гитлеровцы готовят прорыв к Волге. Собрав актив батальона, сделал обзор боевых действий, привел примеры героизма в боях за Сталинград. Приказал командирам подразделений организовать проверку боевой техники и наличия боеприпасов.

С КП полка сообщили по телефону, что в районе Купоросного и Лапшина сада — это в южной части города — противник прорвался к Волге и развивает наступление к Ельшанке. 271-й полк несет тяжелые потери.

С наступлением темноты направил разведку в район Гумрака — километров за десять перед фронтом батальона. Ее возглавил только что принятый в партию опытный разведчик и командир первого взвода третьей роты пограничник старшина Николай Волков. Коренастый, широкоплечий, крепко сбитый, гимнастерка на нем как влитая. Даже в этих условиях каждый день бреется и подшивает свежий воротничок. Где он их только берет, эти свежие воротнички? Скорее всего, стирает ночами. Сразу видно кадрового бойца. Что ни прикажи ему, что ни скажи, выполняет быстро, четко, без лишнего шума. Не знаю, может быть, я чересчур привязан к пограничникам и слишком выделяю их, но дисциплина, выучка, солдатское мастерство у них несравненно выше, чем у других бойцов. А о реакции и говорить нечего — молниеносная. Граница приучила. Впрочем, если и есть у меня особая привязанность к пограничникам (а я стараюсь, чтобы ее никто не заметил), то понять меня можно: все-таки столько лет в погранвойсках.

Неожиданно для себя сложились строки:

Товарищ чекист! Рубеж не сдавать!
Горячее время настало.
Немало боев нам пришлось испытать,
Такого еще не бывало.
Грохочут снаряды, и танки гремят,
Над нами стервятники вьются.
Но мы порешили — ни шагу назад!
Фашисты сюда не прорвутся.

В общем стихи получились. Аркадию Груздеву они понравились. Он переписал их и сказал, что размножит как клятву в своем батальоне. Редко мы стали с ним видеться. Разговариваем через связных, теперь уж не до встреч: бои каждый день, по многу раз в сутки.

Наши военфельдшеры Клава Шаповалова и Галя Панасенко тоже переписали стихи. Одним словом, пошли они гулять по батальону.

...А «языка» нет. Разведчики доложили о скоплении вражеской техники в авиапоселке и районе Разгуляевки. Значит, надо ждать подкрепления. Передал эти сведения в полк.

12 сентября. Командир третьей роты Балонин доложил, что гитлеровцы устанавливают минометы и готовят танки. Я поднялся на высоту 112.5. Да, так оно и есть. Приказал Балонину развернуть роту фронтом к Разгуляевке. Предупредил соседей справа. На высоте выставил пять противотанковых ружей, два станковых пулемета, ротные минометы. Приказал девушкам-зенитчицам бить по вражеским танкам прямой наводкой. Доклад об обстановке на КП полка.

Ко мне обратился парторг Бардюжа:

— Разрешите отбыть в третью роту?

— Какая необходимость?

— Парторг должен быть там, где обстановка сложнее.

— Действуйте!

В 16.00 рота вражеских автоматчиков под прикрытием двух танков ударила в стык нашей третьей роты с соседним подразделением. Огнем из ПТР и зенитных пушек оба танка подбиты. Пехота отброшена. Фашисты скрылись в глубоком овраге, недалеко от линии обороны третьей роты. У нас убиты трое. Смертью храбрых погиб партийный организатор Бардюжа. Он первым бросился на врага, увлекая за собой бойцов. Фашистская автоматная очередь сразила его. Не стало замечательного товарища, пламенного коммуниста.

Вечером меня позвали к телефону. Полковой комиссар Кузнецов приказал прочно закрепиться на занимаемом рубеже, подготовить личный состав к отражению новых атак, эвакуировать раненых, представить отличившихся к наградам.

Пришел к выводу, что гитлеровцы сегодня провели разведку боем. Значит, надо ждать большого наступления.

Ночью по приказу снялись с позиций и ушли к Волге зенитчицы. Держатся они мужественно. Зенитчицы, совсем молодые девушки, вчерашние школьницы, в упор расстреливают танки. Они не дрогнули там, где и бывалому воину не по себе. Под стать им наши девушки-медики. Военфельдшеры Клава Шаповалова и Галя Панасенко под огнем вытаскивают и перевязывают раненых. Врач

нашего полка Шура Батова хладнокровно, уверенно, с огромной выдержкой и мужеством оказывает первую помощь раненым, словно она в каком-нибудь тыловом госпитале. Старшина Виктория Шепетья вот уже который день работает на переправе, где действительно крошечный ад.

13 сентября. Рубеж обороны первой и третьей рот подвергнут бомбардировке. Внезапно появились три красноезвездных истребителя. Короткий бой — и два вражеских стервятника, объятых пламенем, врезались в землю.

Во второй роте осколками бомб убиты три ополченца — пожилые люди, кадровые металлурги.

В 17.00 батальон вражеских автоматчиков при поддержке трех танков, артиллерии и минометов прорвал оборону и занял высоту 112.5, оказавшись в нашем тылу. С наступлением темноты к высоте подтянута вторая рота, вперед выдвинут первый взвод этой роты, которым командует старшина Иван Николаевич Яковлев. Подготовлена к атаке третья рота.

В 22.00 начата одновременная атака. Взвод Яковлева первым ворвался на высоту. Противотанковыми гранатами подорваны два танка, третий ушел.

К часу ночи фашисты были отброшены. Бой закончился. Мы потеряли многих товарищей и среди них командира взвода Яковлева. Он погиб от взрыва вражеской гранаты. Я вспомнил, как он весной встретился в этом городе со своей женой, приехавшей с Урала только для того, чтобы увидеть мужа и показать ему крошечную дочь. Удивительно отважная и решительная женщина. Прodelать такой долгий и тяжелый путь, да еще с грудным ребенком! Осталась без мужа, а ребенок без отца.

14 сентября. И кому только нужен этот солнечный день и это безоблачное небо! Бойцы с тоской смотрят на эту синь. Того и гляди начнет работать вражеская авиация.

Так и есть. С 8.00 до 12.00 — массированный налет на оборону нашего батальона и соседних подразделений. Клубы дыма и огня закрыли небо.

Особенно тщательной обработке подвергнут небольшой участок на высоте 112.5. Значит, гитлеровцы решили во что бы то ни стало овладеть этой высотой. Вот почему мы укрепили третью роту и этот участок восемнадцатью собаками, взводом ПТР, группой минометов.

В 15.00 Балонин доложил, что со стороны Разгуляевки движутся пять танков и две бронемашины, а со стороны авиагородка — до батальона автоматчиков.

Сражение длилось более пяти часов. Четыре раза враг атаковал рубеж батальона. И все-таки мы выстояли. Поддержку оказала «катюша»... Оставив на поле боя 150 убитых и раненых, три танка, две бронемшины, пять минометов, гитлеровцы откатились назад.

Спать, спать, спать... Как мне хочется хоть часок поспать! Да и замерз я. Ночи холодные.

15 сентября. У нас тихо. Жарко у Груздева. Со своего КП вижу танки противника, ползущие на его батальон. Пытался связаться по телефону, но провод оказался поврежденным. Слышу взрывы, автоматные и пулеметные очереди, выстрелы противотанковых ружей, вижу огонь и клубы дыма. Что там происходит?

Позвонил на КП полка и попросил дать туда залп «катюш». Командир полка майор Журавлев ответил:

— Не разрешаю.

— Товарищ майор, Груздеву нужна помощь.

— Товарищ политрук... Виноват, старший политрук, думайте о своем батальоне. И примите мои поздравления с присвоением воинского звания старшего политрука.

Он помолчал, потом снова неофициально сказал:

— Туда нельзя стрелять, Леша. Своих убиваем».

XII

...Батальон Груздева держался до последнего.

Немцы наступали со стороны городского кладбища, через развалины больницы, вдоль железнодорожного полотна, оттуда, где держал оборону батальон Коваленко.

Очевидно, им очень нужна была широкая улица, ведущая к центру города.

Груздев подумал, что сегодня у Леши Коваленко будет спокойный день. Относительно спокойный, по сталинградским понятиям. Это значит, что Коваленко придется выдержать не очень сильный налет авиации, небольшой артиллерийский обстрел и всего лишь несколько атак. Красота! Жить можно! Все остальное придется на долю Груздева. А этого остального будет так много, что хватило бы с лихвой на целый полк.

Ну что ж, ничего не поделаешь. Вчера досталось Коваленко, а Груздев почти отдыхал, сегодня наоборот. Первый и второй батальоны оседлали улицы, ведущие к центру города, и немцы пытаются поочередно разбить эти батальоны.

Почему поочередно — не совсем понятно. Сил, что ли, у них не хватает? А может быть, и не хватает. Недаром вот уже который день изматывают чекисты в непрерывных боях фашистские дивизии.

«А все-таки примитивно воюют эти фашисты,— подумал Груздев,— шаблон. Никакой мысли, никакого творчества. Сейчас, по заведенному порядку, налетит авиация. Потом начнется артиллерийский обстрел. Затем двинутся танки, за ними пехота. Хоть бы сменили пластинку. С такими силами можно устраивать любые неожиданности. А они только и рассчитывают на свое численное и техническое превосходство: оглушить бомбами и снарядами, подавить танками, добить пехотой — и все. Никак не возьмут в толк, что сорок первый год давно уже прошел, что никто теперь не паникует во время бомбежки, не бежит от танков. Даром, что ли, год воевали и столько крови пролили? Ну погодите! Будут и у нас в достатке самолеты и танки, сравняемся силами, тогда покажем, как воевать. Ходят слухи, что в город переправляются свежие дивизии 62-й армии. Это значит, что обстановка скоро изменится. А пока надо держаться».

Груздев не успел обойти боевые порядки батальона, как послышался гул самолетов. Так и есть, летят. А небо чистое-чистое, ни одного облачка. По рассказам местных жителей, солнце здесь светит круглый год, больше, чем в Крыму. Хорошо, должно быть, жить в этом городе в спокойное, мирное время. А сейчас не мешало бы сюда ленинградского неба, пасмурного, дождливого, хмурого.

Бомбы с воем посыпались вниз. Распластавшись на дне траншеи, вжавшись в землю, всем телом чувствуя свою незащищенность, Груздев думал о том, много ли сегодня бомб у фашистов и как долго еще будет продолжаться налет. Ужасное это положение — лежать вот так под бомбами и не иметь никакой возможности защитить себя: самолетов наших не видно, редкие зенитные пушки снялись вчера и ушли к Волге, а пулеметом и винтовкой от авиации не прикроешься. Уж лучше любая атака, даже рукопашная. Там хоть что-то зависит от тебя, от твоей решительности, меткости, сообразительности.

Да, кажется, сегодня немцы всерьез взялись — бомбят и бомбят. Ага, заговорила артиллерия. Значит, скоро жди гостей.

Артиллерийский налет кончился неожиданно, и сразу показались танки. Со своего КП Груздев видел, как десяток танков двинулись на правый фланг, на роту Садовского. Еще пять танков поползли к центру, три — на левый фланг. Хорошо держится Садовский, молодец! Горит один танк, другой, замер третий... Кажется, первый натиск отбит. Посмотрим, что будет дальше.

А дальше было так, что вспомнить что-либо страшно. Танки лезли один за другим. Фашисты не считались с потерями и решили во что бы то ни стало опрокинуть батальон. Бой продолжался весь день. Такого еще не было. Ну четыре часа, пять, шесть... Но весь день!..

Груздев перебрался в роту Садовского. Людей здесь оставалось мало. А немцы лезли именно сюда. Опять танки. За ними — пехота. Груздев бросился вперед. И вдруг что-то с силой приподняло его и швырнуло наземь.

Из воспоминаний бывшего командира второго батальона 270-го полка старшего лейтенанта А. Груздева:

«Ничего не помню. Не знаю, кто меня вытащил, как я оказался за Волгой с сильнейшей контузией и несколькими осколочными ранениями... Про то, как держались остатки батальона, я узнал потом. Дорого заплатили фашисты за этот клочок земли.

А я вылез, снова попал в свою дивизию, опять по соседству с Лешей Коваленко. И уже окончательно мы с ним отвоевались на Курской дуге».

К вечеру от всего батальона осталась горстка людей. Тем не менее батальон отражал атаки фашистов.

...В роте Садовского осталось четыре человека: командир взвода младший лейтенант Петр Круглов, сержант Александр Беляев, красноармейцы Михаил Чембаров и Николай Сарафанов.

Неожиданно с тыла показались танки противника.

— Двадцать,— подсчитал Петр Круглов.— Многовато на четверых, а?

— По пять на каждого,— прикинул Александр Беляев.— Попробуем.

— Приготовиться! — скомандовал Круглов.

Беляев выстрелил. Головная машина остановилась. Зло рыча, танки на предельной скорости помчались туда, откуда раздался выстрел.

До окопов оставалось метров тридцать. Сарафанов бросил бутылку. Она попала в орудийную башню, танк загорелся. Третий танк поджег Михаил Чембаров. Беляев остановил четвертую машину.

Три танка, обходя горящие, двинулись к окопам. В них полетели гранаты и бутылки. И еще три огненных языка поднялись к небу. Из машин выскочили гитлеровцы. Сарафанов успел уложить двоих. Третий выстрелил в Сарафанова.

Услышав стон, Круглов оглянулся и похолодел: из четверых остался он один. Один против десятка танков! Взяв в руки по бутылке с горючей смесью, Круглов поднялся во весь рост, бросил бутылки в проходящие мимо танки. Еще две машины загорелись. Но младший лейтенант Петр Круглов уже не увидел этого, он упал, прошитый вражеской очередью.

...Очнулся Сарафанов — темно, тихо, никого. Что случилось? Где товарищи? Куда делись танки? Превозмогая боль, с трудом подтягивая непослушное тело, Сарафанов добрался до развалин. По дороге снял с убитого фрица автомат. Теперь не страшно, теперь можно стрелять. Единственное, чего хочется, это пить. Глоток воды, и ожил бы боец Сарафанов.

Сколько времени прошло, Сарафанов не знал. Он то приходил в себя, то опять проваливался в густую темноту. Пить... Пить... Кто это наклонился? Наш? Фашист? Сара-

фанов протянул руку к автомату, но не успел: удар по голове оборвал слабые вспышки сознания.

Пришел в себя от холодной воды, которой ему так не доставало: кто-то окатил его из ведра. Жадно слизывая капли, Сарафанов открыл глаза. Удар сапогом поставил его на ноги. Увидел других красноармейцев, которых тоже куда-то вели, и среди них Михаила Чембарова — однополчанина, товарища, земляка-сталинградца. Ну, если не один, если кругом свои, пусть даже под конвоем, но свои, значит, что-нибудь придумаем.

На следующий день Сарафанову удалось бежать.

А вскоре Николай принимал участие в окружении и разгроме немцев под Сталинградом, в дальнейшем наступлении наших войск.

XIII

То были самые трудные дни — вторая декада сентября, точнее, 13, 14, 15, 16, 17, 18 сентября.

282-й во взаимодействии с 249-м конвойным полком и группой генерал-майора Фекленко, в которую входили танковая бригада и морской отряд, при поддержке стрелковой бригады полковника Горохова, истребительно-противотанкового артиллерийского полка, рабочих отрядов и огня канонерской лодки «Усыскин» сдерживали противника в северной части города.

269-й полк прикрывал подступы к Мамаеву кургану. На этом направлении действовали сводный батальон 112-й стрелковой дивизии, 6-я гвардейская танковая бригада, 38-я мотострелковая и 42-я стрелковая бригады. Все они были обескровлены, измотаны долгими боями и крайне нуждались в отдыхе, переформировании, пополнении.

272-й и 270-й полки сражались в центральной части города. Вместе с ними действовали сводный батальон железнодорожного полка НКВД, подразделения 416-го истребительного противотанкового артиллерийского полка, батареи зенитно-артиллерийского корпуса ПВО, 73-й отдельный бронепоезд НКВД.

На юге города вел бои 271-й полк. Здесь сражались части 35-й гвардейской стрелковой дивизии и 131-й стрелковой дивизии, подразделения 416-го истребительного противотанкового артиллерийского полка.

Но полки и дивизии — это только по названию. На деле их можно было свести в роты и батальоны. Людей оставалось крайне мало. К 18 сентября в 271-м полку насчитывалось лишь шестьдесят пять человек. Дрались все: врачи, санитары, сапожники, портные, ружейные мастера... Оставшихся людей водили в атаки командир полка майор Костеницын, бывший слесарь, окончивший накануне войны академию имени Фрунзе, и заместитель командира полка майор Романенко. Одиннадцать дней потребовалось двум танковым и двум пехотным дивизиям гитлеровцев, чтобы оттеснить защитников южной части города до элеватора, где уже стояли подоспевшие соединения 62-й армии. Одиннадцать дней на пять километров! Четыреста пятьдесят метров в сутки! За это время 271-й полк с приданными и поддерживающими подразделениями уничтожил тридцать восемь танков, одиннадцать минометных батарей, тридцать станковых пулеметов, свыше трех с половиной тысяч солдат и офицеров противника.

* * *

Комиссар дивизии Кузнецов читал политдонесения. В каждом говорилось о подвигах коммунистов и комсомольцев. Вот строки политдонесений:

«...Политрук роты Тотубалин возглавил атаку. Рота отбросила гитлеровцев. Тотубалин погиб в бою.

...Старший сержант коммунист Фесик уничтожил гранатой пулеметный расчет противника, завладел вражеским пулеметом и ударил из него во фланг гитлеровцам, сорвав их атаку.

...Батальон 269-го полка под командованием пограничника коммуниста Шевченко отразил семнадцать ожесточенных атак, подбил несколько танков, истребил более пятисот гитлеровцев.

...Санинструктор и комсорг штаба 269-го полка Дина Зорина за один только день оказала помощь пятидесяти бойцам и вынесла с поля боя двадцать три раненых. Когда погиб минометный расчет, Дина открыла огонь из миномета...»

— Что задумался, комиссар? — спросил Сараев.

— Трудные дни, таких не было. Осатанели фашисты.

— Думается,— словно размышляя сам с собой, проговорил Сараев,— теперь будет легче. Тринадцатая гвардейская дивизия уже вступила в бой. Не сегодня завтра надо ждать другие дивизии.

— Скорее бы. Тяжело. А ты слышал про концерт, который устроил политрук Квеквескири?

— Какой еще концерт?

— Самый настоящий. Притащил на передовую патефон с пластинками и давай наяривать. Немцы совсем взбеленились, режут из пулеметов, швыряют мины. А патефон играет. Как только пластинка подходит к концу, Квеквескири ставит другую. То про Разина, то про ямщика — самые что ни на есть русские народные. А сам тем временем постреливает из винтовки. Трех фашистов уложил и удовольствие бойцам доставил.

— Молодец! — рассмеялся Сараев.— Додумался же. А что, в самом деле, еще делать начальнику клуба, как не идти к бойцам на передовую?!

— Ты это донесение видел?

Комдив взял листок:

«Доношу, что в результате наступления противника и отхода некоторых наших подразделений мой батальон оказался в окружении и был отрезан от полка. Вместе с командиром 2-й мотобригады майором т. Осиповым и командирами других подразделений, также оказавшихся в окружении, мы решили занять круговую оборону. В течение следующего дня противник предпринял на мой батальон семь атак пехоты с танками. Все атаки отбиты с большими для противника потерями. Бойцы и командиры дрались героически, назад ни шагу никто не сделал. Вечером совместно с командиром 2-й мотобригады мы решили выйти из окружения в направлении оврага, ведущего к Волге, что и было сделано.

Командир второго батальона 282 сп
капитан Артюшенко.»

— Коротко и ясно,— заметил Сараев.— А что, комиссар, мы никого из отличившихся не забываем?

— Пока что никого.

— Смотри, Петр Никифорович. Это твоя забота. Люди так героически дерутся, что каждого надо бы награждать.

* * *

Из воспоминаний бывшего комиссара 10-й дивизии НКВД генерал-майора П. Кузнецова:

«Гвозди бы делать из этих людей:

Крепче б не было в мире гвоздей»

Так, кажется, сказал поэт. И еще строки приходят в голову: «Лицом к лицу лица не увидеть. Большое видится на расстоянье...» Да, только сейчас, много лет спустя, по-настоящему оцениваешь подвиги, которые, порой незаметно, совершали каждый день бойцы и командиры, меньше всего думая о том, как это будет выглядеть со стороны, как оценится. Просто воевали, стояли до последнего, били фашистов и совершали подвиги. Ряды защитников Сталинграда цементировали коммунисты. Только за первые десять дней боев в трех полках нашей дивизии подано 230 заявлений о приеме в партию. Личная отвага коммунистов была примером для всех».

XIV

Не снимая рук с «максима», Федя Иванов временами проваливался в какое-то забытие. Потом вдруг, словно кто-то толкал его, он просыпался, напряженно смотрел покрасневшими глазами в сторону немцев и опять его охватывала дремота. Шли третьи сутки чуть ли не непрерывных боев. Немцы лезли и лезли. Пока были вдвоем, удавалось порой на полчаса закрыть глаза. Тоже не сон, но все же легче, вроде какого-то самовнушения, что ли. Вчера днем убило Федора Максимовича. И вот уже больше суток Федя один. Теперь и вовсе не до сна.

Голова налита свинцом. Никакими силами не удержишь ее; сама падает на грудь. Как у только что родившегося ребенка. Как у крошечного сына...

«Смотри, Федя, смотри! — обрадовалась жена. — Сережа уже головку держит». — «Брось, это тебе показалось», — не верил Федя. «Показалось, да? Иди сюда, иди. Сережа, где наш папа?» Мальчик улыбнулся.

...Федя поднял голову, открыл глаза и сквозь улыбку сына увидел дымящиеся развалины дома, улицу, загроможденную осколками кирпича, поваленный набор, изрешеченный пулями трамвай, свисающие оборванные провода, воронки и трупы. В руинах дома засели немцы. Трамвай служил для них укрытием перед окончательным броском. От трамвая до Феде — метров двести, может быть, немного меньше, а возможно, и чуть-чуть больше. Двести метров голого, хорошо просматриваемого и простреливаемого пространства.

Когда-то здесь была набережная. Вечерами, после знойного дня, сюда приходили подышать воздухом сталинградцы. Совсем по-домашнему люди садились на каменный парапет недавно построенной набережной и часами смотрели на ночную, в огнях пароходов и бакенов Волгу. На самом берегу причудливо темнели груды гранита, свезенные сюда для второй очереди набережной. Про эту грудку гранита бабки рассказывали всякие страсти-мордасти: и пьянствуют здесь, и в карты играют, и людей грабят... Как-то в свободный день Федя облазил всю грудку снаружи и изнутри. Нашел только обертки от мороженого и конфетные бумажки — ребятня пировала. Сейчас там штаб соседней части. Очень даже хорошо, что завезли сюда до войны гранит, есть где укрыться штабу.

В этом штабе Федя на днях, когда жив был Федор Максимович, повстречал бойца, показавшегося ему знакомым. Долго смотрел на него, пока тот не удивился:

— Ну что ты на меня уставился?

— Где-то я тебя видел. А вот где, не припомню.

— Наверное, видел. Все мы теперь друг друга где-нибудь да видели: на Украине, в Белоруссии — мало ли где.

— Нет, — не успокаивался Федя. — Ты мне представляешься совсем не в военном, а в белой рубашке и с пионерским галстуком. Местный, что ли?

— Здешний.

— Слушай, а не ты ли тот самый пионер, который читал стихи в день пуска тракторного завода?

— Он самый,— подтвердил боец.— Ты-то откуда знаешь?

— Так я же был на празднике,— обрадовался Федя.— С батей.

— Ну? Вот так встреча! Батя жив?

— Бати давно нет. Теперь вообще никого нет. Один я остался,— опустил голову Федя.

— И я один.

— Твои-то как?

— Щель вырыли во дворе... От самолетов... И все в этой щели... Мать, сестренка и братишка... Засыпало...

— Ты где теперь?

— Вон мой пулемет, видишь?

— А мой рядом,— обрадовался Федя.— Значит, воюем?

— Воюем.

...Двести метров... Вражеские трупы и десятки, а может быть, сотни воронок. Глубокие — от бомб и снарядов, мелкие — от мин. А трупы — это работа Володи Костина, того самого бойца, который когда-то, счастливый, радостный, гордый, читал звонкие стихи перед воротами тракторного завода, и Ивановых. Были Ивановы, остался один Иванов. Федора Максимовича убило осколком мины, вскрикнуть не успел, сразу насмерть. Похоронил его Федя в той самой яме, где совсем недавно отсиживался мальчик Витя.

Далеко теперь мальчик Витя, если удалось благополучно переправиться через Волгу. Виктор Федорович Иванов. Не стало одного Иванова, появился другой. Убьют Федю Иванова, придет на его место другой Иванов. Всех не перебеешь. Много Ивановых в России!

...Ах ты черт, так ведь и немцев проспишь! Чего доброго, подойдут незаметно и возьмут сонного голыми руками. Голыми руками! Врете, нас так просто не возьмешь! Ага, зашевелились, двинулись! Ну давай, проклятый фашист, иди!

Федя сжал ручку пулемета. Черный, перемешанный с грязью и копотью, пот тек по лицу, резал и без того воспаленные глаза. Но не было времени вытереть пот. Пулемет бился в руках, словно стараясь вырваться и помчаться туда, где перебежали зеленые фигурки. Федя короткими точными очередями валил эти фигурки на землю, громко, во весь голос (благо один и не на кого оглядываться) ругался последними словами — от возбуждения, злости, не-

ненависти, оттого, что его, добрейшего Федю Иванова, который до войны воробья жалел и отнимал у мальчишек рогатки, его заставили бросить свою мирную, самую мирную на земле профессию строителя и убивать людей.

— Ага, не нравится! Залегли! А мы сейчас поддадим. Вот так! Хорошо! А теперь гранатами, гранатами! Вот вам, получайте!

Забыв об опасности, поднявшись во весь рост, Федя бросил несколько гранат в самую гущу врагов, с радостью увидел, как отхлынули фашисты, и вдруг, широко открыв глаза, словно удивившись, что такое могло случиться, схватился за живот, согнулся вдвое и упал.

Не видел Федя Иванов, как лег за его пулемет подоспевший боец, может быть, тоже Иванов или Сидоров, Петров или с другой фамилией — какая разница! Не слышал, как подползли санитары...

Во внутреннем кармане гимнастерки, возле самого сердца, нашли детскую рукавичку без пальчика, а в ней письмо: «Дядя, убей Гитлера. Папа мой тоже бьет Гитлера, а маму убила бомба...»

XV

Фашисты вклинились в боевые порядки 272-го полка и разрезали его на отдельные участки сопротивления. Бой в центре города шел за каждый дом, каждую улицу, каждую стену. Особенно ожесточенные схватки велись вокруг вокзала и Комсомольского сада.

Комиссар полка Иван Мефодьевич Щербина вот уже которые сутки вместе с бойцами и командирами не выходил из непрерывных боев. Да еще успевал замечать настроение каждого, поговорить с людьми, вести свою основную комиссарскую работу, которая прежде всего заключалась в поддержании боевого духа бойцов, их моральной стойкости.

Из воспоминаний В. Рыбаковой:

«Помню, в разгар боя упал один боец, за ним другой... Я бросилась к ним, чтобы сделать перевязку... И вдруг — окрик комиссара Щербины:

— Стой! Назад!

Я не обратила внимания на окрик, даже не подумала, что он относится ко мне: где же мне, ме-

дицинской сестре, быть, как не возле раненых! Пули свистят над головой, мины рвутся. Впрочем, это я сейчас рассуждаю, а тогда ни о чем не думала, ползла к раненым. Чудом добралась до них. Действительно чудом, потому что то место было пристреляно и пули свистели в воздухе. Перевязала, поползла назад. Вернулась невредимой. И вдруг слышу грозный окрик комиссара:

— За такое — расстрел!

Вот тогда только я поняла, что останавливал он меня и что слова о расстреле относятся ко мне. Боже мой! За что?

— Это не отвaga, а черт знает что! — не успокаивался Щербина. — Прет на рожон, когда противник ведет прицельный огонь. Нам не нужны герои, которые глупо гибнут в бою. Слишком дорог каждый человек, слишком много смертей!

Стою бледная, губы дрожат, по щекам слезы. Чуть слышно говорю:

— Я хотела как лучше...

Поднимаю глаза на командира полка майора Савчука. И кажется мне, что в уголках его губ улыбка. Значит, никакого расстрела не будет. Уже смелее гляжу на комиссара. И вижу в его глазах то ли восторг, то ли восхищение, во всяком случае — отеческое одобрение моего поступка, моей отваги.

Комиссар отводит меня в сторону и совсем другим, добрым, мягким голосом говорит:

— Нельзя так, Вера. Думать надо. Бой — это не только безрассудная отвага. Бой — это задача со многими неизвестными, которую решать надо тут же, моментально. Ты думаешь, меня не подмывает кинуться на помощь раненым? Но в эту минуту разумнее, может быть, переждать. Всего одна минута, а решает она многое. Вот так, Вера. А что ты храбрая — это хорошо, это на войне очень нужно.

Вот таким мне запомнился наш комиссар Щербина — сильным, умным, строгим, справедливым, заботливым....»

Подразделения полка отходили к Волге.

Штаб во главе с комполка майором Ястребцевым, заменившим раненого Савчука, и комиссаром Щербиной разместился в бомбоубежище городского комитета обороны.

Город по-прежнему густо дымил. Тело то в одном, то в другом месте.

На окраине сада громоздилось здание театра. Иссеченное пулями, изрешеченное снарядами, оно все же не потеряло своих первоначальных форм. Сюда, очевидно, не было прямого попадания бомб, а пулями здание не разрушишь. Вот только львы на высоком крыльце выглядят плачевно: у одного отбита голова, второй потерял лапы. Ну, львов можно починить после боев или поставить новых. Весь город придется заново строить. Кто-то из бойцов спрашивал, будут ли строить город на этом месте или оставят его как память о войне, а новый заложат по соседству.

Это хорошо, что бойцы в самые трудные дни ведут такие разговоры. Значит, крепки духом, не сомневаются в разгроме гитлеровцев. А город все же надо строить и восстанавливать на прежнем месте: пусть все видят и помнят поднятый из руин город на Волге.

Рядом разорвался снаряд, цыкнула пуля. Неужели немцы знают о бомбоубежище и пристреливаются к нему? Во всяком случае, другого укрытия сейчас нет. Поживем — увидим.

А фашисты действительно взяли под жестокий обстрел единственный выход из бомбоубежища. И штаб полка оказался зажатым в подземелье. Пробить бетонное перекрытие и выбраться наверх? Вряд ли это получится: строили для себя, на совесть. А может, все-таки попробовать?

Сначала били бетон по очереди. Потом навалились разом. Чуть передохнули и снова начали пробивать бетон — уже без особой надежды, просто так, чтобы не сидеть без дела.

Бетон не поддавался.

Прошло трое суток. Все попытки выбраться кончались ранением или смертью.

Продукты на исходе и — самое страшное — ни капли воды. Последние сухари делил комиссар. Последние... А что дальше?

— Мы окружены, товарищи,— сказал Щербина.— Не буду вас обнадеживать, выхода не вижу. Придется пробиваться, может быть, ценою жизни. Помните: чекисты не сдаются! Вид у всех должен быть опрятный, выправка боевая. И никакой паники, подавленного настроения. Война есть война. Никто не обещал нам на войне ни удобных условий, ни безопасности, ни жизни. Так, товарищи?

— Так.

— А теперь прежде чем пробиваться, сделаем еще попытку связаться со своими. Так, товарищ майор? — спросил он Ястребцева.

Щербина обвел глазами горстку бойцов и командиров, задержал взгляд на зеленой пограничной фуражке.

— Младший лейтенант Брагин! Приказываю пробиться в штаб дивизии и передать боевое донесение.

Брагин поспешил к выходу, ползком выбрался наружу. Оставшиеся в бомбоубежище напряженно, до боли в глазах смотрели на голубой квадрат выхода, сдерживая дыхание, прислушивались к выстрелам, стараясь понять, что там происходит и где Брагин.

Младший лейтенант был уже на краю сада. Еще одно усилие, и он выберется из этого насквозь просматриваемого и простреливаемого места, а там уже легче: через руины и развалины доберется до штаба полка. Еще чуть-чуть... Но тут немцы. Может быть, рядом? Тоже немцы. А с той стороны? И там...

Развернув боевое донесение, Брагин внимательно прочитал его, стараясь запомнить каждое слово, разорвал бумагу в мелкие клочки, разбросал их, подобрался вплотную к немцам, швырнул гранату и, строча из автомата, кинулся вперед. Все шло удачно: неожиданный взрыв гранаты и автоматная очередь, растерявшиеся на минуту от этого неожиданного нападения фашисты... Минуты вполне хватило бы для последнего броска, если бы не вражеская пуля. Словно споткнувшись, Брагин упал, широко раскинув руки.

А в бомбоубежище все еще ждали, надеялись на помощь. Вот только где младший лейтенант Брагин? Кто скажет, где он сейчас?

Неожиданно наступившая после ожесточенной перестрелки и взрыва гранаты тишина сама по себе уже ни о чем добром не говорила.

А когда прошло еще несколько часов томительного ожидания, стало ясно, что Брагин не пробрался. Послать

еще? Но зачем распылять и без того небольшие силы? Нет, надо попытаться всем вместе, одним броском, одним ударом. Но почему вдруг тяжело дышится? Куда пропал воздух, что с ним случилось?

Выглянув наружу, Щербина понял, в чем дело: фашисты подогнали танк и принялись нагнетать в бомбоубежище отработанный газ из глушителя. Теперь уже выбора не было: либо задохнуться от газа, либо сделать попытку прорваться. Сейчас же, немедленно! Многие уже угорели, и среди тяжело отравленных оказался майор Ястребцев.

— Приготовить гранаты! — скомандовал комиссар. — Все за мной!

Бойцы и командиры следом за комиссаром обрушились на гитлеровцев, не ожидающих дерзкой, отчаянной вылазки от измученных, израненных, полуотравленных людей. Поначалу фашисты поняли появление русских как прекращение бесполезной борьбы и сдачу в плен. Взрывы гранат, автоматные очереди тут же дали понять истинное намерение вырвавшихся из бомбоубежища. Гитлеровцы обрушили на горстку людей шквальный огонь. Но загнать их в подземелье не смогли. Сняв фашистов, Щербина с оставшимися в живых бойцами прорвался к драмтеатру. Казалось бы, вот он уже, выход из окружения. Но за драмтеатром бойцы опять натолкнулись на густую цепь фашистов.

— Занять оборону! — приказал комиссар. — Не подпускать фашистов! Ничего, товарищи, пробьемся!

Бойцы заняли круговую оборону. Щербина залег у пробитой стены, выходящей в сад. Не очень удачно прошла операция: из одного окружения — в другое.

Впрочем, все зависит от того, что считать удачей. Если удалось вырваться из подземелья, где кроме единственного выхода не было ни одной отдушины и где каждый боец, не видя немцев, чувствовал себя совершенно беспомощным, то это удача, и немалая. Здесь каждый видит врага, каждый защищает свой участок.

— Как, старшина? — спросил Щербина.

— Живем, товарищ комиссар, — ответил старшина Андреев. Будем драться...

— Сейчас пойдут.

— Ну что ж, устроим им спектакль.

Поняв, что окруженных так просто не возьмешь и что, несмотря на неоднократные предложения, сдаваться они

не собираются, фашисты пошли на подлость. Сognaв из ближайших подвалов застрывших в городе женщин и детей, прикрываясь этим живым заслоном, они двинулись на театр.

— Что же это, товарищ комиссар? — растерянно спросил кто-то из бойцов.— Разве так можно?

— Фашистам все можно. На то они и фашисты.

Щербина смотрел на приближающуюся толпу женщин и детей и обдумывал положение. Что же делать?

— Товарищ комиссар, они рядом!

— Не стрелять! — скомандовал Щербина.— Как только подойдут к крыльцу, бросаемся на немцев.

Фашисты гнали толпу вперед. Вот они уже возле крыльца. Вот уже раздался чей-то голос:

— Рус, сдавайся!

Вот они уже загнали толпу на крыльцо, а сами топчутся внизу. Пора!

— Вперед! — скомандовал Щербина.

Он первым прыгнул с крыльца. За ним остальные — вся небольшая, столько выдержавшая за эти дни, основательно поредевшая группа. Обрушившись на фашистов, бойцы стреляли, били, кололи... Сам комиссар успел сделать всего лишь несколько выстрелов. Автоматная очередь оборвала его жизнь.

Не многим из этой группы удалось прорвать окружение. Эти несколько человек вынесли тело своего комиссара. В кармане его гимнастерки обнаружили написанную перед последним боем записку:

«Тов. Кузнецов. Если я погибну, одна моя просьба — семья. Другая моя печаль: надо было сволочам еще дать по зубам. Жалею, что рано умер и фашистов убил лишь 85... За Родину, ребята, бейте врага!»

XVI

Эх, если бы не непрерывные, ожесточенные, изматывающие бои! Если бы можно было на какое-то время прерваться, осмотреться, подумать!.. Сколько же хороших, честных, искренних, настоящих людей кругом! А может быть, все дело в том, что война, постоянная опасность заставляют каждого быть самим собой, срывая всякие защитные покровы, обнажая и выявляя действительное существо человека. Вот младший лейтенант Андрей Си-

ненко. Только что из пограничного училища. Еще необстрелянный, зеленый, совсем мальчишка. Отделение доверить — и то боязно, а надо давать взвод, никуда не денешься — командир. И ставить перед ним боевые задачи, и требовать их выполнения. А душа болит: и за боевую задачу, и за младшего лейтенанта Андрея Синенко. Ему осмотреться бы, привыкнуть, сходить раза два в разведку с бывалыми бойцами или командирами вроде старшины Волкова... Но некогда привыкать, некогда присматриваться. Получил Синенко взвод из десяти человек и пошел выбивать немцев, просочившихся на кладбище. Обнаружил на дне оврага до роты фашистов, открыл по ним огонь, забросал их гранатами.

Вот вам и зеленый, вот вам и мальчишка! Не случайно, должно быть, фронтовой год считается за три. Нашлись, вероятно, умные люди, которые подсчитали, что на фронте человек мужает в три раза быстрее. И взрослеет.

Коваленко вздохнул, вытащил по привычке дневник, хотел было что-то записать, но закрыл тетрадь. О чем писать? О бесконечных боях? О статье в дивизионной многотиражке «Пламенным словом и личным примером», в которой он написал о парторге Бардюже. Редактор младший политрук Налютин, тоже, кстати, пограничник, пришел в батальон, познакомился с Коваленко и долго убеждал его не закапывать свой журналистский талант, непременно писать в газету. Узнал про дневник и загорелся: немедленно дай его для публикации. Кое-как отбилсЯ от него Коваленко, клятвенно пообещав после этих тяжелых боев отдать в редакцию свой дневник и активно сотрудничать в газете.

Обещал с легкой душой: кто знает, что будет после этих боев?

Ну его к дьяволу, этот дневник, эти никому сейчас не нужные литературные опыты. Нет ни времени, ни желания.

Получен приказ: занять новый рубеж обороны — от моста через реку Царицу по железнодорожному валу до виадука, который служит проездом автотранспорту из центральной части города на улицу Ангарскую. Сосед справа — сводный батальон железнодорожного полка, слева по крутому левому берегу реки Царицы — подразделение 911-го стрелкового полка. У виадука выставлены оставшиеся двадцать собак, двенадцать противотанковых ружей, две пушки-сорокапятки. Командный пункт

полка расположился в трехстах метрах от линии обороны батальона. КП дивизии — в восьмистах метрах, вниз по реке Царице.

В девять утра враг начал массированный обстрел передо мной части, потом перенес огонь в район городского сада.

В одиннадцать фашисты полезли с трех сторон. Даже не полезли, а пошли во весь рост. Решили, наверное, что так можно быстрее управиться с измотанными, из последних сил сопротивляющимися русскими. А почему бы и нет? История знает немало примеров, когда вид идущего во весь рост, уверенного в себе врага повергал обороняющихся в страшную панику.

Вот и пришлось самому пережить психическую атаку. Когда-то смотрел в «Чапаеве», как во весь рост шли отборные офицерские белогвардейские части на пулемет Анки. И такая жуть брала даже в зрительном зале, что хотелось крикнуть пулеметчице:

— Стреляй же! Стреляй! Или уходи!

Наверное, не меньше двадцати раз смотрел «Чапаева», помнил каждый эпизод, каждое слово, знал, чем кончится атака идущих под барабанный бой белогвардейцев, смыкающих после каждого убитого ряда. И все-таки страшно: за Анку, за всех наших.

А сейчас ни страха, ни жути. Может быть, потому, что уже не первый день воюет Коваленко и такими штучками его не возьмешь. А возможно, и потому, что хорошо изучил врага, не раз видел его спину.

Фашисты ближе и ближе. Тоже не дураки: с одной стороны идут в психическую, с других сторон ползут и лезут по всем правилам боя, а из развалин дома бьют пулеметы.

— Огонь!

Пулеметные очереди заставили гитлеровцев залечь. Психическая атака захлебнулась.

Враг бросил свежие силы.

В тыл батальона прорвались гитлеровские танки и пулеметчики. Погибли комбат Морозкин, заместитель командира батальона лейтенант Лепихин. Батальон оказался в окружении.

— Занять круговую оборону! — приказал Коваленко. — Орудиям и противотанковым ружьям развернуться против прорвавшихся танков!

Автоматные и пулеметные очереди, минные разрывы...

Собаки бросаются под танки... Взрывы, огонь... Крики, стоны... И так продолжается не один час.

К вечеру бой затих. Остаткам батальона удалось вырваться из окружения и отойти метров на сто — сто пятьдесят. Железнодорожный вал и мост захвачены немцами.

Глубокая ночь. Догорают дома. Город затянут дымом. В небе висят фашистские осветительные ракеты. Время от времени, словно спохватившись, гитлеровцы выпускают несколько пулеметных очередей, бросают две-три мины и опять ненадолго замолкают. Сводный батальон, созданный из остатков полка, не ввязывается в ночную перестрелку. Командиром сводного батальона назначен старший политрук Коваленко. Комдив приказал любой ценой вернуть мост и железнодорожный вал.

Бойцы отдыхают. Спят глубоким сном на земле, в воронках, под стенами разбитых домов — где кому удалось приткнуться. Только командиру сводного батальона не спится. Не так это просто — вернуть мост и железнодорожный вал, ох как не просто! Долго удерживали его, много полегло фашистов. Но если они не считались с потерями, то у нас каждый на счету: всего сто восемьдесят человек осталось от полка, и помощи ждать неоткуда. Плохо и то, что личный состав сводного батальона почти незнаком комбату: своих осталось человек двадцать — тридцать, остальные из других подразделений. Наверное, бывалые, обстрелянные воины, если выдержали хотя бы несколько сталинградских дней. Все это так. Но в таком бою, как предстоящий, хорошо бы знать каждого. Ничего не поделаешь! Балонин на месте, Волков в строю, Сулейманов рядом — и то хорошо. А мост надо брать, очень уж выгодная позиция.

Увидел бодрствующих фельдшериц, удивился:

— А вы чего, медицина, не спите? Завтра много работы.

— Уже сегодня,— поправила Галя Панасенко.

— Да, часа через два начнется. Где оборудуете медицинский пункт?

Девушки пожали плечами:

— На линии огня. Там, где раненые.

Коваленко вспомнил минувший кошмарный день, измученных девчат, в мокрых от пота гимнастерках, волочащих на себе раненых, перевязывающих их под сильным огнем... Как бы хотелось отправить их дальше, в тыл, что-

бы меньше подвергались опасности. Но разве поймешь, где тут тыл, а где передний край...

Сулейман что-то поет на своем языке, чуть покачиваясь из стороны в сторону.

— О чем ты, Сулейман?

— О моей земле, о горах, о цветущих садах. Вернемся мы с тобой, товарищ комиссар, из Берлина и поедем прямо ко мне. Никуда тебя не отпущу. Посмотришь, какая у нас красивая жизнь.

По соседству, на гряде кирпича, разглядел Балонина.

— Как настроение, Миша?

— Вот сижу, думаю. Ты знаешь, Алексей Васильевич, я ведь вырос на этих улицах. В горсад лазил через забор. Помню, зацепился как-то за гвоздь и повис. Штаны крепкие, из чертовой кожи — был такой материал... Мать нарочно шила из него, чтобы не так быстро рвал. И вот вишу я — ни туда ни сюда. А подо мной два милиционера прохаживаются. Ну все, думаю, погиб. Дождался, пока они уйдут, рванул из всех сил, штаны пополам, а я на земле. Без штанов, сам понимаешь, гулять по саду не будешь. А парень я был уже здоровый, восемь классов окончил. И пошел темными улицами домой выслушивать мамин причитания... Смешно все-таки, милиционеры и рваные штаны казались мне тогда самым большим несчастьем, хоть иди топись. Сейчас бы нам такие несчастья, а?

Балонин засмеялся.

— А вот там, где мост, — продолжал он, — много стрижиных гнезд в обрывах. Уйдем, бывало, из дому на весь день, а то и на два-три. По куску хлеба с собой, арбузы, помидоры, огурцы, яблоки — с чужих бахчей, огородов, садов. И накаких забот. Впереди еще два месяца рыбалки, купанья, игр, походов...

— Ты, — Балонин вопросительно взглянул на комиссара, — наверное, удивляешься, что я детство вспомнил? А мне ни о чем больше думать не хочется. Хорошее время, хотя и не легкое: семья большая, один отец работал... Но хорошее!

— А ты представляешь, как бы мы сейчас жили, не случись этой войны?

— Что и говорить!

— Скоро утро, поспал бы, — предложил Коваленко.

— Пробовал, не получается. Как подумаю о стариках, о доме, вспомню товарищей, город, Волгу — места себе

не нахожу. Какой уж тут отдых! Придет пора — отдохнем.

— Ох, Балонин, не нравишься ты мне. Война, брат, долгая, тяжелая работа, и без отдыха тут не обойтись. Ну ладно, после боя поговорим.

...Не пришлось им больше говорить. В первой же атаке фашистский снайпер прострелил Балонину голову в тот самый момент, когда командир роты поднял бойцов в атаку. Он упал, может быть, в том самом месте, где босоногим мальчишкой разжигал на высоком берегу Царицы костер после долгого, набитого впечатлениями и событиями дня, где распевал песни о картошке и об утре, которое встречает прохладой, где вместе с другими мальчишками учился смелости, ловкости, находчивости, которые такгодились ему в этой войне.

Когда Клава Шаповалова подбежала к Балонину, он был уже мертв. Уткнувшись в распростертое тело, Клава горько плакала.

— Ну что ты, что? — тормошила ее Галя.

— Нет больше сил, Галя. Один за другим, один за другим... Сколько же можно!

— Давай вынесем его.

Подбежал Коваленко. Снял зеленую фуражку, надев ее в атаку, постоял секунду молча, кинулся вперед, крикнув девушкам:

— Оставьте его здесь. Пусть видят бойцы своего командира. После боя похороним.

С пяти утра завязался тяжелый бой.

Преодолев глубокий овраг, пройдя через густой огонь, роты оказались лицом к лицу с противником. Бойцы кинулись врукопашную. Упал Волков. Истекая кровью, сполз на землю Нептухо... А мост рядом, вот он, еще один бросок! Ох как тяжело сделать этот бросок! Как непросто оторваться от спасительной земли... Но надо! Надо! Иначе фашисты опомнятся и все будет потеряно.

— За мной! — поднялся Коваленко. — Бей их, гадов! Вперед!

Чья-то тяжелая рука сшибла комбата, кто-то широкий загородил его и тут же упал рядом. Сулейман Сулейманов! Так и не отошел от своего комбата и в последнюю минуту спас его от пули ценой собственной жизни.

— Гранатами их, гранатами! — раздался звонкий крик Шаповаловой.

Швырнув за вал гранаты, Клава бросилась вперед. И вдруг увидела бегущего на фашистов комбата.

— Жив! — обрадовалась Клава.

— Жив, Клава, и даже не ранен.

Только проговорил, пуля попала в левую руку. Клава бросилась к Коваленко.

— Ложись! — крикнул комбат. — Убьют к чертовой матери!

— Перевязать надо!

— Никогда, потом! Вперед, товарищи!

Рядом разорвалась мина. Коваленко почувствовал боль в правой руке. И опять к нему бросилась Клава. И снова грозный окрик прижал ее к земле: место пристреляно. Продвигаясь вперед, Клава не сводила глаз с раненного в обе руки комбата, выбирала удобный момент, чтобы перевязать его. А Коваленко с оставшимися в живых бойцами уже ворвался на мост, сбросив с него фашистов.

Вот он наконец удобный момент. Клава кинулась к Коваленко. И тут же простучала пулеметная очередь. Клава полетела с высокой насыпи в ров.

Пройдет не один десяток лет. Не раз встретятся оставшиеся в живых фронтовые товарищи. И всегда будут с грустью вспоминать погибших друзей, смелую девушку Клаву Шаповалову, награжденную посмертно орденом Красного Знамени. В наградном листе, который Коваленко оформил тут же, после боя, сказано:

«Шаповалова Клавдия Денисовна проявила мужество и героизм при защите Родины. Находясь постоянно в зоне смертоносного огня, организовывала эвакуацию раненных в тыл. Переодевшись в гражданское платье, вынесла с занятой фашистами территории тяжело раненного командира. Вместе с батальоном участвовала в атаке. С гранатами в руках бросилась на вражеский минометный расчет, уничтожила его, вызвав панику у фашистов.»

Пройдет много лет... Просматривая Указ о награждении орденами и медалями работников здравоохранения, директор Волгоградского книготорга Алексей Васильевич Коваленко увидит фамилию заведующей Мелавским фельдшерско-акушерским пунктом Белгородской области Шаповаловой Клавдии Денисовны, награжденной медалью «За трудовое отличие». Может быть, та самая Клава Шаповалова? Но она же погибла! Неужели жива?

В Белгородскую область пойдет из Волгограда запрос. А вскоре придет письмо от самой Клавды Шаповаловой:

«Жива, товарищ комиссар, жива! Весной 1943 года мне вручили орден Красного Знамени и показали наградной лист, который Вы составили. Спасибо Вам за все.

После госпиталя меня признали негодной к несению военной службы. Я вернулась домой и работаю здесь. Как же я рада узнать, что Вы живы! Как хорошо было бы собраться нам всем в Сталинграде, на той самой земле...»

Опомнившись, фашисты поползли на мост. Бойцы отбросили их огнем. Гитлеровцы обрушили шквал артиллерийского огня. Двадцать человек, оставшихся от сводного батальона, держались.

Из доклада командира 270-го полка майора А. Журавлева и военкома С. Осипова:

«...Во время боя 19.9.42 года погибли зам. военкома полка старший политрук Чибисов, командир первого батальона старший лейтенант Морозкин, командир третьей роты лейтенант Балонин; ранены секретарь партбюро Беляков, зам. командира полка капитан Баулин, старший политрук Коваленко, командир роты автоматчиков младший лейтенант Могилев, командир штабного взвода связи младший лейтенант Логвиненко и др.»

Но все это уже без Коваленко. Из штаба полка пришел приказ: сдать батальон и отправиться в медпункт.

Только сейчас, уйдя с моста, почувствовал Коваленко боль в руках, нечеловеческую усталость. Если бы можно было, растянулся бы прямо здесь, на земле, и спал бы, спал, спал... Но где тут растянешься, когда воздух насквозь прошит пулями, с противным визгом шлепаются мины, свистят снаряды. Того и гляди убьют по дороге в медпункт — вот будет обидно! Нет, не могут убить, не должны! После того, что выдержал, ничего не страшно.

Увидев Коваленко, врач Батова заторопилась:

— Быстрее на перевязку и уходи скорее. Видишь, немцы жмут. Вот-вот будут здесь. Мне тяжелораненых некуда девать. А ты ходячий. Уходи, пока не окружили.

— Может, я пригожусь?

— Товарищ раненый, — повысила голос Батова, — приказываю немедленно добираться на переправу.

— Так уж и на переправу? Мне еще в штаб полка надо.

— Куда хочешь, только отсюда уходи. Иди, Леша, иди. У меня своих забот полно».

**Из воспоминаний бывшего военного врача
270-го полка А. Батовой:**

«Вовремя я его выпроводила. Только наступило небольшое затишье и мы решили эвакуировать раненых, как выяснилось, что медпункт окружен. Докладываю об этом по телефону начальнику штаба полка капитану Чучину. Он присылает взвод автоматчиков. Мне удается под огнем вывести тяжелораненых. Возвращаюсь к себе и продолжаю оказывать первую помощь. Раненые идут со всех сторон, еле успеваю обрабатывать. Вдруг вбегает часовой и докладывает, что дом, в котором мы находимся, вернее, остатки дома окружены, на этот раз вплотную. И снова Чучин присылает взвод автоматчиков. С группой я прорываюсь буквально через шквал огня в район городского сада, отправляю раненых на переправу, а сама с медицинскими работниками остаюсь в простреливаемом городском саду и продолжаю оказывать помощь бойцам и командирам».

* * *

Увидев Коваленко, командир полка майор Журавлев обрадовался:

— Жив? А я уж думал, по дороге ухлопали. Жми на переправу. Да смотри, чтобы на Волге не стукнули.

Только к вечеру он добрался до переправы. Нет, не до самой переправы, а пока что до подвала одного из разрушенных домов возле берега, где собирались предназначенные к эвакуации раненые. Хотел было передохнуть. Только растянулся на полу — услышал знакомый голос. Так и есть: старшина медицинской службы Виктория Шепетья.

— Леша! Куда тебя? Тяжело?

— Ничего страшного, до свадьбы заживет. А ты как?

— Не говори, Леша. Пятый раз переправляюсь. Страшно — сил нет! Сегодня на пароме какой-то воен-

ный все выпытывал у меня, с каким чувством я выхожу на этот берег. Не знаю, может, ждал он особенных слов. А я ему так и сказала: страшно! Страшно — и все!

Тот военный был писатель Константин Симонов. В очерке «Дни и ночи», опубликованном в «Красной звезде», он расскажет о встрече на пароме: «У нее в эту минуту были большие грустные глаза. Я понял, что это правда: очень страшно в двадцать лет быть уже два раза раненой, уже пятнадцать месяцев воевать и в пятый раз ехать отсюда в Сталинград».

А потом появится книга Симонова ««Дни и ночи». И в Днепропетровск придет письмо на имя Виктории Илларионовны Захаровой (Шепети), в котором писатель опять вспомнит встречу на пароме, молодую медицинскую сестру, послужившую прообразом одной из героинь: «Та короткая встреча с Вами, та искренность, с которой Вы говорили о своих чувствах, и то скромное мужество, которое было присуще Вам и которое, сами того, может быть, не замечая, проявляли тогда там, на волжской переправе,— все это оказалось для меня, как для писателя, первым толчком, чтобы написать медсестру Аню именно такой, какой я написал ее... Мне хочется поблагодарить Вас за то, что тогда, в ту короткую встречу на переправе, Вы помогли мне написать книгу...»

— Ничего, Вика, наверное, уже недолго.

— Хорошо бы, Леша. Ну пойдем, пора.

— А тебе непременно надо ехать?

— Как тебе сказать? Наверное, надо. А кому же еще?

...Снаряды вспарывали темную густую воду, пули свистящимся пунктиром пронизывали ночь. Высокий правый берег начал отдаляться, унося с собой разрушенный, все еще горящий город, перепаханную снарядами и бомбами землю, где, казалось бы, не за что зацепиться, негде укрыться и где, тем не менее, как влитые стояли бойцы Красной Армии, солдаты Сталинграда.

* * *

Большой и долгий путь проделает до конца войны дивизия чекистов, награжденная за бои на Волге орденом Ленина. Она дойдет до берегов Одера. Еще три боевых ордена — Красного Знамени, Суворова и Кутузова — украсят Знамя дивизии. Далеко не всем воинам выпадет счастье изгнать фашистов с нашей земли,

освободить порабощенные страны Европы, победно войти в фашистскую Германию: одни сложат головы, другие будут тяжело ранены...

Пройдет не один десяток лет, состарятся оставшиеся в живых бойцы и командиры, жизнь разбросает их по всей нашей необъятной земле. Но где бы они ни были, как бы себя ни чувствовали, непременно приезжают в город на Волге, который каждый из них считает своим родным. Здесь все напоминает о славном и трудном, героическом и тяжком времени, когда 10-я дивизия приняла на себя удар фашистских полчищ,— все: возрожденный город, закованные в асфальт улицы, новое здание драмтеатра, виадук, который по-прежнему соединяет центральную часть города с Ангарской улицей, Волга, обрывистые берега Царицы и на одном из берегов, на самом высоком месте — памятник чекистам, бойцам и командирам 10-й дивизии НКВД.

Они идут по городу — седые, израненные люди с орденами на груди. Идут улицами имени Ивана Щербины, Афанасия Карпова, Михаила Балонина, Дмитрия Яковлева, Алексея Ващенко, Петра Круглова, Александра Беляева... Идут на Мамаев курган, где на развернутых знаменах высечены фамилии погибших за Сталинград и среди них — фамилии комиссара Щербины, младшего политрука Яковлева, рядового Ващенко...

Не судите строго этих людей, если заметите слезы на их глазах или если у кого-то вдруг перехватит горло и не сможет он от волнения продолжать свою речь. Они многое выдержали — легендарные бойцы и командиры 10-й дивизии. Железный ветер бил им в лицо...

В ГОРАХ



I

В десять тридцать самолет приземлился на аэродроме областного центра. Оживленная толпа хлынула на стоянку такси. Заполненные людьми машины срывались с места и, набирая скорость, уносились по широкой асфальтовой дороге. Минут через десять стоянка опустела. Оставшиеся пассажиры бросились в другой конец площадки — к личным и учрежденческим автомобилям.

Человек в сером костюме, с небольшим чемоданом в руке подошел к одной из машин. Шофер в раздумье покачал головой, потом, решившись, открыл дверцу.

В одиннадцать часов офицер-пограничник принял сообщение о том, что в сторону границы отправился на машине неизвестный человек.

II

Ефрейтор Соколов сегодня отдыхает.

Выходной день на заставе — редкая штука. Бывает даже и так, что на полгода один выпадет — служба, граница, ничего не попишешь. Выходной каждый волен провести, как ему вздумается: спать сколько угодно, читать, письма писать, загорать, если подходящая погода, перебирать свои вещи, вспоминать родной дом... Короче говоря, выходной — это такой день, когда можно расслабиться, сбросить ежедневное напряжение, жить в свое удовольствие, если, конечно, не будет тревоги.

Впрочем, тревогу заранее не предугадаешь. Кто знает, когда и по какому поводу она будет объявлена — учебная или боевая.

А пока выпал редкий выходной, лучше всего, пожалуй, написать большое обстоятельное письмо Вале.

...Увидел ее Виталька Соколов и сразу влюбился. Может быть, и не совсем так, как пишут в романах, но вот

пришлась Валя по душе и все. А она и слушать ни о чем не хочет. Что только Виталька не делал: записки посылал, по телефону звонил, часами поджидал ее и потом, будто случайно, сталкивался с ней, цветы дарил... Идешь по улице с этим проклятым букетом в руках и не знаешь, куда его припрятать, чтобы не бросался всем в глаза. Так и кажется, что все пальцами показывают: жених пошел.

Подсылал к ней своего дружка Кольку Макеева, с которым сейчас служит на одной заставе. У Кольки язык острый, слов не ищет, как Виталька, недаром возглавляет на заставе комсомольскую организацию. Так вот, и Колька вернулся ни с чем. «Если любит по-настоящему,— сказала Валя,— пусть докажет, пусть сделает что-нибудь необычное, такое, такое... в общем, необычное».

Ну что можно в наше время совершить необычное? Вызвать кого-нибудь на дуэль, проще говоря, с кем-нибудь подраться? Необычное, необычное... Ладно, будет необычное!

Через дорогу от Валиного дома, как раз напротив ее окон, только что закончили строить семиэтажное здание: сплошной бетон, стекло и по бокам две гладкие — зацепиться не за что — стены, облицованные белой плиткой. Забрался ночью Виталий на крышу нового здания, привязал кусок крепкой веревки к трубе, спустился по этой веревке этажа на полтора, повис над бездной, и, держась одной рукой, вывел другой огромные красные буквы на белой стене: «Валя я тебя люблю». Без запятой и точки — не до них. Кончил писать и почувствовал такую слабость, что чуть-чуть не загремел вниз. Кое-как собрался с силами и начал подтягиваться, упираясь ногами в гладкую стену. Куда там! Ноги скользят, руки не держат... Кажется, сейчас произойдет то самое, необычное: сорвется Виталька и останется от него мокрое место. Страшно стало!

Долго кричал Виталька, цепляясь из последних сил за веревку, пока не приехала пожарная машина. На этой же машине отвезли его в милицию и с ходу дали пятнадцать суток — «за хулиганство, выразившееся в нарушении ночного покоя города и порче нового здания».

А все-таки не зря висел Виталька на веревке, что-то на Валю подействовало: то ли пятнадцать суток, то ли надпись, которая так и осталась на стене дома. И когда уезжал Виталька в армию, пришла Валя проводить его.

О чем же ей на этот раз написать? Что придумать эдакое... необычное. День похож на другой, и, как ни думывайся, ничего необычного не вспомнишь. Хорошо было раньше, когда начал служить. Необычное тогда сыпалось со всех сторон. Одни горы чего стоили. Никогда таких не видел. Откуда они на этой гладкой, ровной, как стол, степной местности? Целые страницы исписывал тогда Виталька про горы, даже слова находил сам, без чужой помощи. Особенно после того, как повели их, новичков, на красивую зеленую гору, что прямо перед казармой.

Начальник заставы на первом же построении сказал новичкам, что, как только выдастся погода, пойдут они туда, где в первый день войны пограничники приняли неравный бой и тридцать суток сдерживали врага. «Такова традиция,— сказал начальник,— начинать службу с посещения этого святого места. А кроме того,— с едва заметной улыбкой добавил он,— подъем на гору будет хорошей проверкой выносливости и физической закали новичков».

Не очень тогда обратил внимание Соколов на слова начальника о проверке выносливости. Не такая уж она и высокая, эта гора — метров триста, не больше. Правда, крутая, градусов на шестьдесят, но какое это имеет значение для девятнадцатилетнего парня со здоровым сердцем и крепкими налитыми мускулами.

Погоды долго не было: зарядили проливные дожди, молнии раскалывали небо, с гор обрушивались потоки воды. Наконец отбушевали грозы, выглянуло солнце, подсушило землю.

Пока шли к горе, все было хорошо. Новички даже напирали на старослужащих, требовали прибавить шаг. Но как только добрались до подножья и с ходу полезли вверх, новички стали отставать.

— Не растягиваться! — подавал команды сверху начальник заставы. — Подтянуться!

Да что же это такое! Неужели он, Виталий Соколов, который запросто бегал по крышам многоэтажных домов, висел на веревке у шестого этажа, взбирался, как кошка, по водосточным трубам, не одолеет эту гору?! Виталька рванулсЯ вперед и тут же почувствовал, как стучит в висках. Нет, спешить нельзя. Пусть медленно, но только бы добраться доверху, не застрять здесь, внизу.

Он лез и лез... Лез из последних сил, на самолюбии... По густой, до пояса, траве, по острым камням, через поваленные деревья...

Давно уже пропали из виду «старички». Где-то сверху слышался треск веток, доносились голоса. А он лез почти на четвереньках,— до того круто. Горячий пот заливал лицо, щипал глаза, сердце часто и гулко стучало, в голове будто беспрерывно били молоточки, уши заложило. Тяжелые сапоги, мокрая от пота гимнастерка тянули вниз...

Тяжело дыша, добрался Соколов до деликатно поджидавших пограничников, что-то сказал им, стараясь сдержать рвущийся из груди хрип и показать, что не очень-то устал, что еще молодец; спросил как можно безразличнее, далеко ли еще до вершины, и снова полез вверх.

Так повторялось раза три. И с каждым разом становилось все труднее и труднее. Вот когда понял, что не такая она простая, пограничная служба, что не один и не два, а много-много раз придется одолевать более крутые высоты. И не налегке, как сейчас, а в полном боевом...

Наконец крутизна уменьшилась, стало чуть-чуть легче. Начался густой ельник, по нему надо было пробираться согнувшись. Темп замедлился. Соколов отдышался и уже спокойно забрался на вершину.

Обернувшись и глянув вниз, он оторопело проговорил:

— Как же мы спустимся? Тут ведь ноги поломаешь.

— Боевые товарищи донесут,— с юмором успокоил кто-то из «старичков».

До этого не дошло, хотя и могло быть. Не раз предательские сухие ветки ломались в руках, и он скользил вниз, кое-как упираясь в осыпающиеся камни и рискуя вывернуть ноги. В одном месте, уже у подножья, где спуск был особенно крут, его предупредили, чтобы непременно свернул вправо и не проскочил прямо, иначе окажется на чужой территории. Виталька напряг все силы, свернул и через минуту стоял внизу.

...Обо всем этом он подробно и, кажется, с юмором написал Вале. И еще о том, что увидел наверху: о развалинах маленького домика с отметинами пуль, широкой дороге на чужой территории, по которой лавиной когда-то шли враги, о небольшом, усыпанном цветами хол-

мике, где после войны были захоронены останки героев. И о том, что рассказал на вершине горы начальник заставы.

...Это было 22 июня 1941 года.

На рассвете младший лейтенант Алексеев отправил на границу очередной наряд. Время тревожное, беспокойное, и Алексеев приказал быть сверхбдительными, сверхвнимательными.

— Ясно?

— Так точно, товарищ младший лейтенант,— в один голос ответили Николай Никитин и Алексей Шередега.

— Смотрите в оба, товарищи,— совсем не по-уставному сказал Алексеев.

— Будьте спокойны,— тоже не по уставу ответили пулеметчики.

Да, Алексеев мог вполне на них положиться. И не только на этих двух — на каждого бойца, каждого младшего командира заставы. Сколько пришлось выдержать! Участок границы трудный, горный, для нарушителей и контрабандистов очень удобный. Но ни один еще не прошел.

Надо бы немного поспать — день предстоит трудный, а сон не идет. Почему-то вдруг дом вспоминается, деревня... Далеко занесло колхозного счетовода Алексеева, на край страны. Был комсомольский набор. Сказали: надо — и он пошел. Мать пишет, что урожай ожидается большой. Вот бы махнуть домой! День провел бы с женой, с детьми, с матерью, повидал друзей и — в поле. Косу в руки — и махай до седьмого пота, чтобы спину ломило.

...Чего это вдруг гражданские мысли лезут в голову? Не о доме — о границе надо думать. А еще лучше — ни о чем сейчас не думать.

Алексеев закрыл глаза. И вдруг раздался взрыв. Второй... Третий... «Артиллерия бьет», — успел подумать Алексеев и тут же скомандовал:

— В ружье!

Бойцы заняли оборонительные рубежи.

— Без команды не стрелять! — приказал Алексеев.

Такого еще не было. Обрушить на заставу артиллерийский огонь! Это уже сверх наглости, больше, чем провокация. Хорошо, что несколько месяцев назад наблюдательный пункт заставы был вынесен на вершину горы. Отличная позиция! Непрístupная, малыми силами ее не возьмешь. Да и против больших можно сутки, а то

и больше продержаться — вполне достаточно, чтобы подошла подмога. А враг — как на ладони. И самое главное, шоссейная дорога к границе полностью под нашим обстрелом.

Почти час пахали землю снаряды. Потом показались вражеские цепи. Перешли границу...

Больше молчать нельзя:

— Огонь!

Откатились фашисты. Пожалуй, хватит с них, конец. Но что это? Еще одна цепь, и опять атака. Это уже не похоже на нарушение или провокацию, тут пахнет чем-то другим. С правого фланга донесся стук станкового пулемета Никитина и Шередеги. Значит, и там разгорелся бой...

Наступил вечер, и вместе с ним — напряженная тревожная тишина. Не покидая своих мест, бойцы наскоро перекусывали, вполголоса переговаривались. Алексеев чутко прислушивался к шуму леса, все еще надеясь на подкрепление.

С рассветом опять начались атаки. Неожиданно замолчал левый фланг. Алексеев бросился туда. У ручного пулемета лежал убитый сержант Михаил Мордвинцев. Воспользовавшись заминкой, враги лезли в гору. Алексеев лег к пулемету.

И снова наступила ночь. Потом еще одна... И еще... Погиб красноармеец Николай Ерохин. Умер от тяжелой раны в голову младший лейтенант Базылев... А застава держалась!

На седьмой день противнику удалось смять правый фланг. Алексеев повел пограничников в контратаку. Оттеснив врага, бойцы увидели страшную картину: фашисты отрезали у тяжелораненого Шередеги нос и уши, выкололи Никитину глаза...

И так день за днем. Наконец, наступил тринадцатый день обороны. Тринадцатый! Враг все еще топтался на месте... Но у защитников заставы уже не было сил...

...Давно это было. Но и поныне помнят люди о мужестве и стойкости пограничников. А застава носит имя младшего лейтенанта Алексева. Не так их много в стране, именных пограничных застав. И совсем не просто здесь служить — это ты понимаешь, Валя? Не только высокая честь, но и большая ответственность.

Попробуй, скажем, не столь тщательно заправить койку, если тут же, в углу, стоит аккуратная, без единой

морщинки, с белоснежными отворотами кровать младшего лейтенанта Кирилла Григорьевича Алексеева, а сам он с фотографии на стене внимательно смотрит на солдат. Или не сумеи четко ответить на вопрос — и опять смотрит на тебя Алексеев, на этот раз с фотографии в ленинской комнате, — красивая крупная голова, аккуратно зачесанные назад густые волосы.

День и ночь, каждую минуту присутствует на заставе младший лейтенант Кирилл Григорьевич Алексеев. Он — в составе боевого расчета, когда звучат перед строем слова приказа:

— На охрану Государственной границы Союза ССР назначается младший лейтенант Алексеев.

И правофланговый отвечает:

— Младший лейтенант Алексеев пал смертью храбрых в боях за свободу и независимость нашей Родины.

Он встречается и провожает каждого у ворот заставы, где на высоком постаменте установлен его бюст: голова слегка повернута в сторону горы, на которой разыгрался неравный бой, в уголках губ застыла едва заметная улыбка. Будто смотрит Алексеев на молодых солдат и хочет сказать: а ну, посмотрим, какие вы, нынешние, посмотрим...

...Вот о чем писал поначалу Виталий Соколов Вале в далекий степной город. Это были целые поэмы о доблести и мужестве. А теперь о чем? Всего-навсего ефрейтор да еще кочегар к тому же. Не будешь же в письме подробно объяснять, что каждый на заставе, помимо основной службы, имеет еще какую-нибудь обязанность: повозочного, шофера, повара... А вот он, ефрейтор Соколов, кочегар. Его дело — качать на заставу воду и топить по субботам баню.

Ефрейтор Соколов крикает от досады, прячет бумагу, ручку и начинает мастерить пограничные столбики, которые он потом раздает всем на заставе. Никто так ловко не делает эти столбики и пограничные вышки, как Соколов. Скоро «дембель», разъедутся ребята по домам, ну и понятно, каждому хочется увезти с собой память о границе.

...Так о чем же все-таки написать? О каменистой контрольно-следовой полосе, где ни черта не разберешь — не поймешь, ни одного следа не увидишь. В книжках, до армии, читал про эту полосу и думал, что

земля мягкая, пушистая, воробей сядет — сразу заметишь. А тут — сплошной камень.

Привык теперь и к горам, и к камням. Махнешь несколько километров вверх — вниз, вверх — вниз, вернешься на заставу — и хоть бы что! И каждый камень заметишь на полосе; чуть не так лежит — сразу обратишь внимание.

На днях вышел в наряд, дошел до конца фланга и сразу увидел маленький голыш, сдвинутый с места. Думал, ошибся, этих голышей-камышков на контрольно-следовой полосе полным-полно, можно перепутать. Пригляделся внимательно — и точно! — кто-то сдвинул камень: земля рядом чуть суше. Сообщил на заставу, а сам прикрыл след, чтобы сохранить его свежесть, и пошел по нему напрямиком к границе. Вдруг след круто свернул в сторону и повернул обратно. Станный нарушитель. Какая необходимость дойти до границы и повернуть назад? Может быть, что-нибудь оставил? Нет, ничего. Ну что же, пойдём по следу.

На проезжей дороге, которая тянется по нашей территории параллельно границе, обнаружил еще один след. Потом вдруг оба исчезли. Ефрейтор задумался, мысленно проследил весь путь нарушителя, потом улыбнулся и спокойно пошел назад. Все ясно! След учебный. Кто-то проложил его, сел в машину и уехал. Ну, наше пограничное дело такое: учебный, не учебный, а след обнаружен, застава поднята по тревоге.

Через два часа ефрейтору Соколову перед строем была объявлена благодарность за отличное несение службы по охране Государственной границы СССР.

...Вот вам и кочегар. Выходит, и мы не лыком шиты? Почему об этом не написать? Не о том, конечно, что тревога оказалась учебной и след специально проложен, — это гражданским лицам знать не положено. Не об этом, а о том, как распутал ефрейтор Соколов след и получил благодарность перед строем.

III

Машина забиралась в горы. Дорога петляла по самому краю обрывистых скал, убегала ненадолго в лес, вырывалась на небольшие луга, снова жалась к обрыву.

Пассажир молчал, нетерпеливо поглядывая на спидометр.

Показалось село... Улица была до того длинной, что, думалось, никогда не добраться до другого ее конца. Весь районный центр состоял из этой нескончаемой улицы. С одной стороны дома, а с другой — быстрая речка. А за домами и речкой — горы. словно по ошибке, забрела сюда, в горы, эта улица и, не зная, как выбраться, навсегда осталась здесь.

— Приехали,— сказал шофер.

— Я просил дальше,— пассажир назвал пограничную деревню.

— Дальше нельзя,— пояснил шофер.— Придется на попутных или автобусом. Пограничная зона.

Пассажир расплатился и вылез из машины.

IV

Старший сержант Макеев на днях вернулся из отпуска. Почти день ушел на рассказы... Ну, а самый главный разговор — с земляками Костиным и Соколовым. Тут уж общими фразами не отделаешься, особенно от Соколова. Прямо не спрашивает, все возле крутится, но ясное дело, кто его больше всего интересуется. А что расскажешь? Девчонка как девчонка, все они друг на друга похожи. Моднючая стала, какую-то немыслимую прическу завела... Спросила разок про Витальку Соколова — и на этом все. Может, постеснялась больше спрашивать, а может быть, и нужды нет — кто их, девчонок, разберет.

Ну как скажешь об этом Витальке? Испортишь парню настроение — на службе отразится. А солдату, особенно пограничнику, с плохим настроением никак нельзя. Это всем известно, тем более Макееву, «комиссару», как зовут его на заставе.

Пришлось на ходу придумывать подробности. Соколов только широко улыбался.

А вот Костин послушал-послушал и сразу догадался, что Макеев сочиняет. Отвел в сторону, спросил:

— Придумываешь?

— Ну!

— В школу заходил?

— Ну!

— А ты еще какие-нибудь слова знаешь? — рассердился Костин. — Так мы с тобой ни до чего не договоримся. Рассказывай подробно.

— Ну! — по привычке произнес Макеев, рассмеялся и начал обстоятельно говорить о школе, в которой учился вместе с Костиным и Соколовым, об общих знакомых, друзьях, ребятах, девчатах...

День ушел на разговоры, потом пришлось браться за дела. Солдаты, они ведь только со стороны похожи друг на друга, и то в общем строю. А так — сколько солдат, столько и характеров. И к каждому надо найти подход, особые слова, свой тон. Это работа секретаря комсомольской организации. А Макеев не старше, порой даже младше своих солдат, видел в жизни меньше, чем они: из десятилетки — на заставу, не успев пожить самостоятельно, своим трудом заработать кусок хлеба. Трудно приходится...

Может быть, и не такой уж срок — десять дней, чтобы глазом определить перемены в человеке. Да и какие могут быть за это время перемены? И все-таки Макеев внимательно присматривался к Борянову: изменился он хоть чуть к лучшему за это время или нет.

Плохим, впрочем, он никогда не был. Да и плохих на заставе нет и быть не может. Здесь каждый на виду, как перед рентгеновским аппаратом. И если кто-то недобросовестно отнесся к службе, сразу видно. Граница! И получая приказ, который начинается словами: «Приказываю выступить на охрану Государственной границы Союза Советских Социалистических Республик...», каждый понимает, что уходит на боевое задание, чреватое всякими неожиданностями. Какая тут может быть недобросовестность! Нет, дело не в этом. Просто чувствуется в Борянове некая замедленность, что ли. Как, скажем, у боксеров: у одного — моментальная реакция, у другого — чуть медленнее. Проигрывает тот, у которого медленнее. Так и Борянов. Все сделает, но чуть медленнее, чем надо, и без инициативы. От сих до сих. Сколько сказано, как велено — не больше. Убрать комнаты — уберет, но половики не вытрясет — не сказали. Почистить конюшню — почистит, но до коровника рядом не дотронется. А ведь он не просто солдат первого года службы, но еще и повозочный, за которым закреплено все четвероногое население заставы.

Как уйдет Борянов ловить лошадей, так и пропал. Каждому охота побыть немного без начальников, приказов, строгой дисциплины — одним словом, на какое-то время выключиться из рассчитанной по минутам жизни. Тем более ловить лошадей. Одно удовольствие, мечта! И побегаешь в охотку, и в лесу побродишь, и ягод нарвешь. Но ведь и совесть надо иметь, и чувство меры знать.

Всыпали Борянову как следует — стал поворотливее, быстрее. Начал из Борянова проглядывать солдат. Ничего, будет отличный солдат! Втянется, поймет, что к чему. Гораздо труднее отучить новичка думать во время несения службы о постороннем. Вернее, приучить ни о чем не думать, кроме службы. Пограничник в наряде, он, как туго закрученная пружина, в любую минуту готов распрямиться. Он сам себе локатор, прожектор, кто хочешь — все должен слышать, видеть, замечать, улавливать. Вот говорят, охота требует многих качеств, охотник, дескать, всегда настороже. Даже в книгах сравнивают разведчиков с охотниками. А с кем же тогда сравнить пограничника? Охотник выискивает крупную или мелкую дичь, разное зверье. Пограничник выслеживает нарушителя, заранее знающего, что его непременно будут ловить, и принимающего все меры для того, чтобы обхитрить пограничника, уйти от преследования. Человек против человека. Это, пожалуй, посложнее, чем человек против зверя. Тут уж не до посторонних мыслей. В часы несения службы забудь все. Только тогда ты будешь настоящим пограничником.

Но как этого добиться? Сколько ни говори первоодку, он, при всем желании, не в состоянии оставить на заставе посторонние мысли, как оставляет разведчик, уходя на задание, документы. Тем более, если граница относительно спокойная и нарушения случаются редко. Тут не так помогают слова — они тоже нужны, капля камень долбит, — как пример, опыт, наглядный показ, внезапные проверки. Особенно скрытные. Прошел мимо, прозевал, не обратил внимание — значит, думал ты в эту минуту не о службе, не о границе и возможных нарушителях, а о Мане или Тане, беленькой хатке или многоэтажном доме, тихой речке или морском прибое — о чем-то своем, далеком от границы.

Вот и решил Макеев на второй день после приезда проверить Борянова. Начальник заставы дал «добро».

Ночь выдалась тихая, спокойная, лунная. В такую ночь куда легче, чем под проливным дождем, когда молнии взрезают небо, а пушечные раскаты грома, во много раз усиленные горным эхом, не прекращаются ни на минуту, напоминая не раз слышанные в кино гул бесконечного количества танков или долгую артиллерийскую подготовку сотен стволов перед большим наступлением. Трудно нести службу в грозовую ночь, когда надо взбираться на такую высоту, где черные тучи плотно окутывают тебя. Гораздо легче в тихие лунные ночи. Но тут другая опасность: тихие ночи, они убаюкивают, располагают к посторонним мыслям, усыпляют бдительность.

Именно такую ночь и выбрали Макеев с Костиным. Вышли чуть раньше Борянова, осторожно сдвинули несколько камней на контрольно-следовой полосе, спрятались рядом в кустах, затаили дыхание.

Минут через десять — пятнадцать послышались шаги. Макеев толкнул Костина, показал большой палец: уже не тяжелые, грузные, далеко слышные шаги, что были раньше. Научился Борянов ходить особым, пограничным шагом. А вот и он сам. Молодец! Хорошо использует тень да еще в маскхалате — совсем его не видно. Ну, Борянов, ну! Чуть-чуть повнимательнее! Смотри же, смотри!

Ох, как хотелось, чтобы не прошел Борянов мимо сдвинутых камней, заинтересовался ими, присмотрелся и дал сигнал на заставу. Если бы можно было, честное слово, подсказали Борянову, шепнули бы. Как в школе, на уроках.

Но граница — не школа. И солдат Борянов — не ученик какого-то класса: обойдется без подсказки. Хорошо, Борянов, хорошо!

Борянов присел на корточки, наклонился к камням, долго смотрел на них. Потом медленно выпрямился, нерешительно оглянулся, опять бросил взгляд на камни и двинулся дальше вдоль полосы. Ну, не заметил бы, тогда понятно. А то ведь увидел, остановился — и не довел дело до конца, не поверил самому себе. Эх, Борянов, Борянов!

Да, не успел Макеев приехать, как дел уже по горло. Надо готовиться к занятиям, провести комсомольское собрание...

— Обрати внимание на Жукова, — подходит к Макееву Костин.

— А что Жуков? Натворил что-нибудь?

— Тебе непременно натворить надо? Тогда будешь воспитывать? Ничего не натворил. Не очень внимателен. Может не заметить что-нибудь, а потом начинает оправдываться: «Я в другую сторону смотрел». Хватит этого с тебя?

И как догадался Костин, что думает сейчас Макеев над тем, чтобы лучше, доходчивее поговорить с солдатами первого года службы о внимательности? Впрочем, ничего удивительного. Все думают о том, как не уронить высокое звание отличной, именной заставы. Только по-разному выражают свои мысли. Одни говорят об этом на собрании, другие — друг с другом, вроде бы между прочим, третьи предпочитают не говорить, а делать. Вот и старшина — заметил непорядок, указал и занялся своими делами. У него их невпроворот. И вообще, из всех троих Костин, хотя и самый молодой по возрасту и по виду, но в делах, поведении, рассуждении куда солиднее своих земляков, заметно солиднее. Наверное, именно поэтому Костина временно поставили на должность старшины, доверив ему все небольшое, но сложное хозяйство заставы: питание личного состава, вещевое довольствие, машины, коней, скот — одним словом, все. Поначалу Костин, было, растерялся. Еще бы, вчерашний десятиклассник — и вдруг коровы, свиньи, автомашины, трактор, лошади. Да не просто так, держи, мол, на учете — и все. Нет, думать надо, заботиться. Подрос бычок, с которым солдаты любили в свободное время играть, вырос в здорового мощного бугая и уже не шутя, а всерьез стал бодаться, пугая местных жителей, — думай, старшина, как усмирить его. Сено на зиму — старшина. Малину с гор на кухню — организуй, старшина. И на службу в очередь со всеми — тоже старшина, потому что от службы никто никогда на границе не освобождается — кем бы ты ни был.

Наверное, потому и не был в отпуске старшина, что некем заменить, и нельзя его ни на один день отпустить. Соколов был, Макеев только что съездил. Оба — за отличную службу, как поощрение. Ездил в отпуск инструктор службы собак сержант Короткевич. А у старшины только благодарности за отличную службу.

— Как лошади?

— И не говори, — с горечью отвечает старшина. — Посбивали спины. Лечить надо.

— А Байкал?

— Ногу повредил.

Байкал — гордость заставы, о нем легенды ходят. Это уже стало пограничной традицией — иметь самую лучшую в стране лошадь и самую прославленную собаку...

К Байкалу у Костина особое отношение. С ним связаны самые первые трудные дни на заставе, когда «старички» с недоверием посматривали на тоненького, с румянцем в обе щеки, совсем мальчишеского вида старшину. Как правило, старшинами бывают умудренные житейским опытом, прослужившие много лет, отлично знающие службу и хозяйство, не раз бывавшие в различных пограничных переделках, задержавшие не одного нарушителя, грозные сверхсрочники. Старшина — это отец, самый близкий и самый строгий человек для солдата. А тут вдруг... Но в армии не спорят. Кончил школу младших командиров, получил звание, назначен на заставу старшиной — и точка! Спорить не будешь, а проверить можно.

Они-то, «старички», и подсунули Костину в первый выход на границу Байкала.

А Сергей Костин не только с таким норовистым Байкалом, ни с одной лошадью никогда не имел дела, близко к ним не подходил. Жил в городе, учился в школе, кончил десятилетку, думал поступать в институт, даже документы послал, потом вдруг стал учиться на шофера. А тут и армия подросла. Что придется служить, Костин знал, был готов к этому, хотя никак не мог представить себя в военной форме. Но пограничные войска — полная неожиданность. На границу ведь каких берут? Здоровяков, богатырей, косая сажень в плечах.

Матери так ничего и не сказал, потом уже написал спустя полгода: очень она почему-то боялась погранвойск и страшно переживала.

Мало этого, сплошные горы, о которых только по картинкам знал и в кино видел, да еще кони.

Зря старались «старички», подсовывая Костину Байкала. Можно было дать любую повозочную, даже самую смирную, хоть Берега, — все одно в новинку для старшины заставы Костина. Но спокойного Берега взял себе служивший в то время на заставе опытный пограничник Макаревич, которому, как потом понял Костин, и было поручено испытать нового старшину, а Костину он подвел Байкала.

Сразу же за заставой Макаревич пустил Берега рысью. Байкал рванулся вперед,— наверное, он все-таки был когда-то чемпионом, не врут легенды, во всяком случае видеть впереди себя другого коня Байкал не мог. Костин вцепился в гриву, чувствуя, что еще немного — и он окажется на земле вместе со своим званием, высокой должностью, еще не завоеванным старшинским авторитетом. К счастью, Берег впереди заметно сбавил ход — то ли устал, то ли Макаревич пожалел Костина. Байкал немного успокоился, продолжая резвую рысь. Никогда в жизни не испытывал бывший десятиклассник таких мук, как от этой легкой рыси. Конская спина вверх, Костин вниз — никак не попадет в такт. Байкал недовольно фыркает, косится на странного седока. А что поделаешь? Припомнил Костин чей-то совет: конь левой ногой на землю — опускайся ему на спину, правой ногой — поднимайся на стремянах. Начал следить за ногами, высчитывать: левая — опускаюсь, правая — на стремяна. Но оказалось, что стремяна не по ноге и нет никакой возможности опереться на них и привстать. А потом просто сбился: когда левая, когда правая — никак не подгадешь.

А Макаревич жмет рысью, такой красивой, резвой, если смотреть со стороны, и начисто выматывающей неопытного седока в седле. Видно, решил рядовой второго года службы Макаревич окончательно доконать старшину заставы Костина, дожждаться, пока не попросит передышки. Придержал один раз Берега и, глядя на Костина невинными глазами, справился:

— Как дела, старшина?

— Нормально,— стиснул зубы Костин.

— Поедем дальше? Или дадим лошадям передохнуть, пройдем немного?

Ох, как заманчиво слезть с широкой, жесткой конской спины, размять совершенно затекшие ноги и идти долго, без остановки, до приятной ломоты в ногах.

— Ну, так как, старшина?

— Поехали,— решил Костин, не отводя взгляда от таких наивных, доверчивых, сочувствующих глаз Макаревича.— Если у вас все в порядке — поехали!

Нет, не дожждаться тебе, Макаревич, чтобы заныл, сдался Костин. Тем более, что уже приноворился к рыси Байкала, почти научился попадать в такт и немного легче стало, терпеть можно. Правда, ноги совсем одеревене-

ли, поясницу ломит. Ну, да ладно, потом разберемся.

Не доезжая до небольшого заборчика, Макаревич опять придержал лошадь.

— Прыгнем, старшина, или пообедем? Мы здесь обычно прыгаем.

— Прыгнем.

Макаревич разогнал Берега и перемахнул через забор. Байкал рванул следом. Но перед самым забором — то ли испугался чего-то, то ли почувствовал неопытного седока, — остановился как вкопанный. Костин проехал по конской шее, чудом не полетев на землю.

— Хватит на первый раз, старшина, — сказал вдруг Макаревич.

Костин с радостью отметил, что в голосе его не было ни деланного безразличия, ни иронического сочувствия. Кажется, действительно пожалел или решил, что испытания закончены.

— Хватит, старшина, слезай!

Костин молча отъехал на приличное расстояние, повернул Байкала и, пришпорив, перескочил через забор. Только после этого спрыгнул, и, не удержавшись на непослушных ногах, свалился.

— Это ничего, — успокоил его Макаревич. — А вот с Байкалом ты здорово управился. Ездил раньше?

— Нет, — честно признался Костин.

— Врешь! — не поверил Макаревич.

— Честное слово!

— Ну, тогда ты голова, — с уважением проговорил Макаревич.

Несколько дней после этого ходил по заставе старшина Костин, согнувшись вопросительным знаком. И ноги переставлял, как неопытный танцор на танцплощадке или корова на льду. Но ни усмешек, ни подковырок, ни издевок не замечал старшина со стороны старослужащих, хотя очень настороженно встречал каждое слово. Нет, не смеялись старослужащие над старшиной с несолидным мальчишеским румянцем во всю щеку. На границе любят, уважают упрямых.

...Сколько прошло с той поры? Года полтора, не больше. Не так уж много, если, конечно, смотреть со стороны. Изнутри оно выглядит по-другому, месяц вроде бы растягивается и кажется длинным, нескончаемым. Особенно перед увольнением в запас. А в общем, ко-

нечно, прошло не так много, и служба промелькнула быстро. Много раз выезжал старшина верхом на границу. И многих молодых солдат обучил он верховой езде. Правда, таких штучек, как выкинул с ним Макаревич, никогда не позволял; навсегда можно отпугнуть от лошади. А солдату без коня трудно на границе.

...Старшина аккуратно перевязывает ногу Байкалу и с непонятной грустью вдруг думает о том, что скоро расставаться с границей, со всем небольшим, но сложным хозяйством заставы. Ждал «дембеля», месяцы подсчитывал, а тут вдруг загрустил. С чего бы это? Уж не Байкал ли виноват?

V

Под вечер неизвестный добрался до маленького домика на отшибе. Об этом домике он заранее знал все подробности, все, что можно было узнать из рассказов хозяина, бывшего контрабандиста, с которым вместе отбывал срок на Севере. Обрадованная хозяйка, получившая живую весточку от своего мужа, хлопотала на кухне. А гость тем временем рассматривал из окна границу: полосатый зелено-красный столб на этой стороне, маленькая речка посередине, вспаханная полоса земли...

Начальник заставы выстроил личный состав и коротко сообщил обстановку: в сторону границы прошел неизвестный. Приказ: перекрыть участок, не допустить нарушения Государственной границы Союза ССР.

VI

Повар заставы Емельян Дудка в великом гневе и возмущении мечется по кухне. Что же это, в самом деле, творится? Застава поднята по тревоге, а он должен готовить обед! Пограничник называется! Да если дома когда-нибудь узнают, засмеют, прохода не дадут. Частушки сочинят и будут распевать — девчата в селе языкастые. А мать что скажет? Когда провожала в армию, просила быть таким же, как ее отец Емельян Иванович Дудка.

Будешь таким же, на кухне...

А дед действительно оказался героем. Совсем недавно это выяснилось. Ребятишки сообщили, волгоград-

ские школьники. Разузнали адрес матери и прислали подробное письмо. Оказывается, дело было так: экскаваторщик увидел в ковше земли ржавую каску, штык, еще что-то, сообщил в соседнюю школу. Прибежали ребяташки, начали осторожно перебирать землю, наткнулись на маленький черный медальон, а в нем бумажка. С трудом удалось разобрать фамилию и несколько слов на обороте. Отдали бумажку экспертам и те восстановили весь текст.

Написал боец Дудка, что остался один с пулеметом, умрет, но не сдастся.

Это же надо, чтобы экскаватор копал именно на этом месте, и экскаваторщик оказался внимательным человеком. И самое главное, что юные следопыты отыскивали медальон с бумажкой. Теперь о Емельяне Ивановиче Дудке знает все село, даже область. А в прошлом году мать пригласили на День Победы в Волгоград. Была она на том месте, где погиб ее отец и где был найден медальон. Потом ей показали весь Волгоград: Мамаев курган, Дом сержанта Павлова, разбитую мельницу, Вечный огонь на могиле защитников города...

Геройским оказался дед, что и говорить! А внук, пограничник Емельян Дудка, назначен поваром заставы и сидит сейчас в тиши и тепле, пока остальные выполняют боевое задание.

Ух, зла не хватает!..

А ведь не собирался стать поваром.

На учебном пункте командир отделения сразу выделил Дудку из всех новичков: волевой, исполнительный, сильный. До призыва работал Дудка каменщиком и не одну сотню кирпича перекидывал за день. Тридцать раз подряд выжимает левой и правой полуторапудовик.

— В горах бывал? — спросил сержант, любуясь высоким, широкоплечим солдатом.

— Нет.

— Придется привыкать.

— Привыкну.

Обещать легко, освоить гораздо труднее.

...Семь человек тянутся цепочкой в гору. Не идут, а именно тянутся. Снег по самый пояс. Вытащишь с трудом одну ногу, на вторую сил не хватает. Стоишь в снегу и ловишь ртом воздух. Стоять долго нельзя — замерзнешь. Холод пробирается под бушлат, схватывает насквозь пропотевшую гимнастерку, студит горячую спину.

— Не стоять! Не стоять! Вперед!

Сколько же еще идти? Неужели до самой вершины? Не может быть, чтобы сразу до конца, никто этого не выдержит.

— Назад! — раздается долгожданная команда.

Назад — не вперед, назад легче. Дорога проложена, впереди — застава. Назад доберемся.

— Ну и как? — спросил Горбик, крепко сбитый, невысокого роста сержант второго года службы.

Дудка посмотрел на широкую грудь Горбика, увешанную значками воинской доблести, тяжело вздохнул. А что ответишь? Не так легко и просто дается заманчивая зеленая фуражка и громкое имя — пограничник. Может быть, не будь гор, все пошло бы проще...

— Не дрейфь, — угадал Горбик. — Будешь бегать по горам за милую душу.

Через день рядовой Дудка уходил в наряд вместе с Горбиком. На этот раз показалось легче. Может быть, потому, что старший наряда сержант Горбик вел новичка не спеша, объясняя все особенности границы, сложности гор, все накопленные годами, друг другу передаваемые неписанные законы, которые облегчают ходьбу по горам. А может быть, и потому, что были они на этот раз вдвоем, и когда Дудка уставал, он честно признавался, просил передышки.

На следующей неделе вышли на лыжах. Гораздо легче, тем более, что к лыжам Дудка привык еще дома. Но когда взобрались наверх, откуда граница круто уходит вниз, чтобы на следующей горе опять вздыбиться вверх, глянул Дудка на крутой спуск и в испуге попятился.

— Поехали! — скомандовал Горбик. — Давай, давай! Ты поменьше думай. Садись на палки — и жми. Смотри!

Он сильно оттолкнулся и исчез в снежном облаке. Набрав побольше воздуха, Дудка ринулся за ним.

— Молодец! — одобрил Горбик. — Самое главное — не думать долго и сразу решиться. Будешь собираться с духом, примеряться, прикидывать — конец, никогда не спустишься. Пожалуй, можно уже пускать тебя на границу.

— Ну да, — испугался и обрадовался Дудка.

И начал Дудка нести настоящую службу. Раньше, чем другие новички. Днем, ночью, при луне и в непогоду, под проливным дождем и жарким солнцем, в грозу и

когда тишина такая, что не шелохнется ни один лист, на лыжах, пешком, верхом... И с каждым разом чувствовал, как прибавляется пограничная сноровка, приходит то, что не записано ни в каких наставлениях и не передашь никакими словами — чувство границы.

Так бы и получал каждый раз рядовой Дудка приказ выступить на охрану Государственной границы Союза Советских Социалистических Республик, и ходил бы в наряды, внимательно всматриваясь в темноту, чутко вслушиваясь в тишину, читая контрольно-следовую полосу, как раскрытую книгу. Но надо же было заболеть повару, старослужащему Годуну. И осталась застава без повара. То есть не совсем, конечно. Потому что оставить личный состав без пищи, хотя бы на полдня, никто не позволит. Варили и готовили по очереди. Но что это за обеды!

Начальник заставы ходил мрачный. Обещали при-
слать повара: жди, когда это будет...

— Разрешите попробовать,— попросил как-то Дудка.

— Пробовали уже,— отрезал начальник заставы.— Не вы, так другие. Вы что же, Дудка, когда-нибудь варили?

— Дома всегда готовил.

— Дома, дома... А в общем, пробуйте. Хуже, наверное, не будет.

Надел Дудка белую куртку и принялся мудрить. Впрочем, мудрить не пришлось: раскладка указана на месяц вперед: завтрак, обед, ужин — все расписано. Продукты есть. Вари, знай, и смотри только, чтобы вкусно было. Ну, а этому Дудку учить не надо, дома мать всегда хвалила его обеды. Конечно, на двоих готовить легче, чем на всю заставу. Но опыт есть, вкус есть, чутье имеется — попробуем.

Начальник заставы снял пробу и удивился:

— Слушайте, Дудка, вы же настоящий повар.

— Никак нет.

— Значит, будете. Мы тут мучаемся, а у нас такой повар! Решено, Дудка! Будете кормить людей.

— А как же граница?

— Вот что,— рассмеялся начальник заставы.— И граница будет. Будет граница. Но сейчас для вас самое главное — вкусно кормить людей. Принимайте, Дудка, кухню и действуйте.

Не такой легкой оказалась эта должность — повар заставы, совсем нелегкой. Спишь и то вполглаза. Один ушел в наряд, другой пришел с наряда... Каждого надо хорошо и вкусно накормить. Вот и получается, что ложится повар часов в одиннадцать ночи и поднимается в четыре утра. Мало этого, думай все время, как и чем разнообразить обед. Можно, конечно, не мудрить: указано в раскладке — и делай. Но хочется лучше, вкуснее. Отпросишься на часок — и в лес, за грибами. Выпадет свободное время — и, вместо волейбола, по малину или чернику. Зато как довольны ребята, едят и не нахвалятся! И служба, говорит начальник заставы, лучше пошла. Вот что такое повар на заставе.

И все-таки обидно...

В раскрытые окна тянет легкий ветерок. За окнами — вся небольшая, аккуратная территория заставы: веселые, белые домики, высокие березы возле самого большого дома, в котором живут солдаты, беседка...

Дежурный куда-то помчался, должно быть, приехали из отряда или выше... Значит, жди на кухне гостей: надо же знать, как кормят пограничников. Ага, так и есть.

— Не подкачай,— шепнул Дудке начальник заставы.

— Что вы там шепчетесь? — расслышал приехавший полковник. — Не мудри, повар, выкладывай, что у тебя приготовлено.

Ел полковник аппетитно. Повару такие гости всегда приятны, не то что те, которые чуть дотронутся, поковыряют и оставляют тарелку — то ли сыт, то ли не нравится. Полковник так же аппетитно съел второе, поблагодарил, попросил книгу проб.

— Учился? — спросил полковник. — Удостоверение есть? Классность?

— Нет у него ничего,— ответил начальник заставы. — Он у нас самоучка.

— Вот как? Ну что ж, выдадим удостоверение, присвоим класс. Выношу благодарность и записываю ее в книгу.

— Служу Советскому Союзу!

— Хорошо служишь! Продолжай!

Вот вам и повар заставы! Не так уж это и просто, а?

VII

Все складывалось как нельзя лучше: тихо, спокойно, ни живой души. Еще бы таких полчаса или минут двадцать...

И вдруг неизвестный насторожился: совсем рядом послышался шорох. Или показалось? Все равно, рисковать нельзя, надо попробовать в другом месте.

VIII

Еще на «гражданке» пристрастился Короткевич к книгам о пограничных следопытах и их собаках. Никто не умел так воспитывать служебных собак, как знаменитый Карацупа. Разве еще старшина Смолин. Короткевич знает старшину лично, учился у него. Когда нашел рассказ про Смолина, обрадовался так, будто про себя прочитал.

Жаль, что про старшину Сапегина ничего не написано. Биография — ярче не придумаешь! Как начал на учебном пункте рассказывать вновь призванным о себе, о своих делах, окончательно убедился Короткевич, что надо проситься в школу инструкторов розыскных собак.

Сапегин недоверчиво посмотрел на ярко-рыжего длинного парня с бесцветными бровями и ресницами.

— Учился? Работал?

Короткевич удивился такому анкетному опросу, не понимая, какое это имеет отношение к собакам и школе. Но ответил, как положено — коротко, четко:

— Кончил девять классов. Работал слесарем.

— Слесарь! — вроде бы даже обрадовался старшина. — Тут тебе дело найдется, слесари нужны.

— Нет, — упрямо проговорил Короткевич. — Хочу с собаками.

— Что так? Или имел дело с ними? — любопытствовал старшина.

— Ага, — обрадовался Короткевич, забыв уставный язык. — У меня дома лайка была. Потом пудель. Здоровый такой.

— Да, богатый опыт, — рассмеялся старшина, но сделал какую-то пометку в блокноте.

Что тут сыграло роль, трудно сказать: лайка ли с пуделем или небольшой, но все же опыт, а может быть,

пометка в блокноте старшины, но объявили Короткевичу, что он зачислен в школу. А вскоре построили курсантов и повели к собакам. Каждый должен был выбрать себе одну и уже не расставаться с ней до конца службы.

— Ты не знаешь, как их выбирают? — спросил Короткевич соседа по строю.

Тот пожал плечами. Присмотрелся Короткевич к другим будущим инструкторам и понял, что никто ему никакого совета не даст — все с таким же «опытом», как у него, а то и меньше. Ладно, решил Короткевич, возьми ту, что злее всех будет на меня бросаться.

Самым злым оказался здоровый палевый пес с черной спиной по кличке Акбар. Он рвал цепь, скалил зубы, мотал мордой, пытаясь сбросить намордник. Короткевич протянул к нему руку. Акбар захлебнулся от злости. Короткевич дотронулся до собаки. Акбар задрожал, шерсть встала дыбом. Короткевич погладил черную спину, ласково заговорил, протянул мясо. Акбар недоверчиво покосился, немного успокоился, потянулся к мясу. Короткевич осторожно снял намордник. Акбар зарычал и начал есть.

Жизнь в школе инструкторов была нелегкой. С утра до ночи как заведенный. За день набегаясь так, что ног не чувствуешь. Хорошо еще, что дома занимался Короткевич легкой атлетикой и нескладным выглядит только со стороны, а на самом деле мало кто может с ним потягаться.

Акбар оказался понятливым, но игривым — всего лишь девять месяцев собаке, детский возраст, ничего не поделаешь. Покажешь рукой, чтобы сядил, а он ложится и хитро косит глазом. Подзовешь его, поругаешь, повторишь жест — делает. Через несколько минут опять играет. Ну как с такой собакой выйдешь на службу? А тут как раз приближался выпуск.

— Ты понял, Акбар, — выпуск! — убеждал собаку Короткевич. — А ты что вытворяешь? Кто же нас с тобой выпустит? Неужели не надоело тебе учиться и неохота заняться настоящим делом? Подумай, Акбар, а? И кончай дурить. Приедем с тобой на заставу, выпадет у нас там свободное время, наиграемся вволю. Договорились?

Собака хватала губами руку хозяина, мягко трепала ее, словно обещая подумать. Короткевич ласково гладил широкую спину, наклонял голову и произносил:

— Жарко, Акбар, жарко!

Акбар недоуменно косился на белый снег, потом тянулся к голове хозяина, осторожно снимал с него шапку и, держа в зубах, смотрел: так, что ли, правильно ли я понял?

— Хорошо, Акбар! Молодец!

Вот когда начались напряженные дни — перед экзаменами. Собаку учил и сам повторял кое-какие предметы. И Акбар перестал играть, будто понял волнение хозяина, даже жесты выполнял четко, без повторений. Правда, на экзаменах Акбар перестарался. Уж так ему хотелось угодить хозяину и выполнить все в лучшем виде, что проскочил в запале один предмет из трех и получил только четверку. Вообще-то, можно было поставить пятерку: все же видели, что Акбар перестарался, он тут же вернулся и нашел третий предмет. Но разве поспоришь с экзаменационной комиссией!

На заставе обрадовались приезду нового инструктора с собакой. Акбара окружили такой лаской, что пес немедленно это почувствовал и по прежней привычке начал играть. А тут еще горы, другой климат... Совсем не тот стал Акбар, что в школе. Даже по следу начал ходить шагом. Короткевич бегом, Акбар позади ленивой трусцой или шагом. Не собака тянет инструктора, а инструктор — собаку. Позор! Стыд! Служебная собака называется. На заставе начали недоверчиво поглядывать на длинного рыжего сержанта с огромной, красивой, но, кажется, бестолковой собакой.

...Солдат спит как убитый. Не успеет голова до подушки дотронуться, а он уже ничего не слышит и не чувствует. Особенно пограничник. Да еще на горной заставе. Можешь рядом ходить, топать сапогами, разговаривать — не услышит тебя заснувший солдат.

А тут вдруг чуть ли не чрезвычайное происшествие: потерял сон инструктор розыскной собаки сержант Короткевич. Не спит — и все!

— Что происходит с Короткевичем? — спросил старшину Костина начальник заставы.

— Не знаю.

— Узнайте. Выясните причину. На то вы и старшина.

К вечеру Костин доложил:

— Похоже, что дело в собаке, о ней думает. Но толком не говорит.

— Вызовите его ко мне.

Через несколько минут Короткевич был в канцелярии заставы.

— В чем дело, сержант? — спросил напрямую начальник заставы.

Короткевич сразу понял, о чем речь, и растерянно заморгал. Больше всего боялся, что отчислят Акбара с заставы, признав негодным. И пропала тогда собака. А ведь он же умный, как дьявол, этот Акбар. Просто новая обстановка, общее внимание, вот и избаловался.

— Дайте немного времени, — сказал он начальнику заставы, — и вы увидите, что такое Акбар.

— Так занимайтесь, — перебил тот, — а не переживайте. Вы же не барышня, чтобы плакаться в подушку.

— Занимаюсь. Все время занимаюсь. Кажется, задеггал собаку, бояться начал меня Акбар. А это уже совсем беда. Еще Смолин в школе предупреждал.

— Садитесь, сержант, — предложил вдруг начальник заставы. — Что это мы с вами стоим. Разговор у нас, кажется, долгий и подробный.

Короткевич сел.

— Судя по вашим характеристикам, — продолжал начальник заставы, — вы не были в школе таким замкнутым, обособленным. В чем дело? Что произошло? Или вы думаете, Акбар только ваша забота? Так вот, с завтрашнего дня начинайте работать с Акбаром так, будто никогда он не был в школе.

— Есть!

...Ну, Акбар, ну, хитрый зверь! Вот и скажи, что собака понимает меньше человека. Будто вместе с Короткевичем был у начальника заставы и слышал приказ все начать сначала. А кому охота начинать сначала и гонять вдвое, а то втрое больше положенного? Хитер, зверюга, ох, и хитер! Тут же почувствовал перемену в настроении Короткевича и начал работать так, будто ничего до этого не было. Ну, нет, дорогой, ничего не получится. Хватит! Веры тебе больше нет. Бегать будешь так, что дым от шерсти пойдет. Только так. А начинать будем, действительно, с азов, с горячего следа. Эх, Акбар, Акбар! Мечтал когда-то Короткевич если не догнать знаменитых следопытов — где уж их догнать, всю жизнь будешь этим заниматься и вряд ли получится! — то хотя бы чуть-чуть приблизиться к ним. Мечтал об этом еще в школе. А теперь все сначала, с горячих следов. Ничего, терпения у него хватит! Держись, Акбар!

...Минула неделя, другая. Акбар заметно оживился. Прошел месяц. Короткевич доложил начальнику заставы:

- Все в порядке.
- Берет след?
- Еще как!
- Какой давности?
- Три часа.
- Увеличивайте давность.
- Есть.
- Спите как?
- Отлично.

...В тот самый вечер, когда неизвестный рассматривал из окна границу, Короткевич возвратился в казарму порядком уставший. Дальний фланг самый неудобный на участке заставы. Не случайно тот, кто приходит оттуда, больше в эти пограничные сутки на службу не идет. Короткевич покормил Акбара, лег, моментально заснул. И вдруг — «В ружье!».

Акбар сразу же взял след. Короткевич еле поспевал за собакой. След вел вдоль границы. Но вдруг повернул назад. Ага, понятно! Увидел нарушителя, что граница перекрыта, и решил переждать.

Начальник заставы внимательно выслушал донесение Короткевича.

- Как работал Акбар?
 - Здорово работал, умница!
- Короткевич погладил собаку.

— Скоро вам расставаться, — напомнил начальник заставы. — Тебе — домой. Акбару — служить.

— Да, скоро... А знаете, о чем я мечтаю? — разоткровенничался вдруг Короткевич. — Приехать домой, взять в питомнике собаку, выучить ее на шестичасовой след и прислать на заставу. Пусть вместе с Акбаром охраняет границу и за себя и за меня.

— Спасибо! Рады будем этому, — отозвался начальник заставы.

IX

Полковник снял телефонную трубку, набрал номер.

— Павел Васильевич? Мы свою операцию закончили. Объект находится в тылу. Принимай вахту.

Головин решил ехать сам. Можно было бы послать Тычкова, даже надо: участок границы закреплен за ним. Но, пожалуй, рановато. Хороший парень Аркадий Тычков, однако выдержки ему еще недостает. Только-только начинает. Со временем все появится: и выдержка, и внимательность, и умение говорить с людьми, и доверие, без которого никак нельзя чекисту. Не сразу, а именно со временем... Уж кому знать, как не Головину. Сам был таким, лет сорок назад, когда начинал в этих местах.

...Он просто смеялся над всеми, этот дядько, по фамилии Кобыль, Мыкола Кобыль. Невысокого роста, коренастый, широченный в плечах, ничем не отличающийся от остальных местных жителей, Кобыль отлично знал малоизвестные тропинки, потаенные тропы и в последнюю минуту ускользал между пальцами. Был Кобыль и нет Кобыля, исчез, растворился, сквозь землю провалился...

Ох, и долго же не давал он покоя районным властям, чекистам, милиционерам, одним словом, всем, кто призван был охранять порядок и кто просто хотел жить и работать спокойно, не посматривая с опаской на горы. Кто знает, с какими целями и намерениями появляется то здесь, то там Кобыль и какие черные мысли бродят в его голове. Впрочем, о намерениях и мыслях нетрудно было догадаться: во время войны Кобыль служил фашистам и теперь скрывался от наказания.

И вот сколько времени прошло, а никак его не изловишь. Казалось бы, вот-вот замкнется кольцо, удастся, наконец, взять Кобыля, а он опять ускользал.

...Под вечер в районный отдел пришел житель соседнего села, вызвал Головина, сунул ему записку и исчез. Павел Васильевич прочитал с трудом накорябанные слова: «Сегодня я хочу вас видеть у себя дома».

Первым желанием было показать записку начальнику, попросить побольше людей и провести операцию так, чтобы навсегда покончить с Миколой Кобылем. Ну, а если сигнал непроверенный? Если ошибся или напутал верный человек Микола Немеджан? Да и не спугнет ли множество людей Кобыля, не дадут ли ему знать и не ускользнет ли он опять, как это было не раз? Нет, действовать надо одному, точно, наверняка. И при этом никогда не надо пороть горячку.

— Что там такое? — спросил начальник.

— Да так, ничего существенного.

Павел Васильевич придвинул к себе дела. Но мысли вертелись вокруг сигнала и Кобыля.

Одному... Легко сказать — одному! А получится ли? Справится ли он, молодой работник, с опытным, матерым нарушителем границы, которому известен тут каждый камушек? Может быть, все-таки доложить начальнику? Нет, нельзя! А вдруг тревога ложная и будут оторваны от важных дел многие люди. Одному! Только одному! Чего бы это ни стоило!

Часов в двенадцать ночи начальник поднялся:

— Хватит на сегодня. По домам, Павел Васильевич.

По домам! Можно ли назвать домом крошечную комнатку в несколько шагов, где с трудом размещается кровать, впрытик к ней стол, а рядом ведро с замерзшей водой. По домам... Где он, этот дом, и когда будет? С женой, с детьми... Нет пока у Головина ни жены, ни дома, хотя пора уже — двадцать шесть, не мальчик. Был когда-то дом в Донбассе. Все тогда было: и школа, и товарищи. От дома остались головешки, хорошо еще родители с сестрами уцелели, а товарищей разбросало по белу свету. Да и сам исколесил дай бог. Поработал до войны на железной дороге, призвался двадцатилетним в сороковом году в армию — с тех пор дом там, где служит, где стоит солдатская кровать. В сорок четвертом направили сюда, в горы. И вот сейчас дом здесь, если можно назвать этот угол домом.

— А может, ко мне? Чайку? — радушно предложил начальник.

В другой раз Головин бы обрадовался. Он любил беседовать в свободные от службы часы с начальником, слушать его рассказы, которые многому учили молодого чекиста. Но только не сегодня. Сославшись на усталость и головную боль, Головин попрощался, пошел вроде бы домой, а потом свернул в сторону и отправился в село, откуда пришла записка.

Ночь выдалась лунная, морозная, идти нетрудно, и Павел Васильевич ходко отсчитывал километры, радуясь погоде. Повезло, ничего не скажешь. Была бы ростепель — и четырнадцать километров пришлось бы тянуть ноги по рыхлому снегу всю ночь.

В домике ждали. Не успел Головин дотронуться пальцем до окна, как дверь приоткрылась и, впустив ноч-

ного гостя, тут же захлопнулась. Огня хозяин не зажег.

— Пришел? — спросил Головин.

— Зараз немає. Будет.

— Где?

— Вот в той хате.

— Кто там есть?

— Жинка, до которой вин ходит, и малая.

— Точно?

— Верные люди говорили. А так, кто ж его знает.

— Хорошо. Давай.

Им не нужны были лишние слова, все было обговорено заранее. За два года Головин познакомился, сдружился, установил деловые связи со многими честными, преданными Советской власти людьми. Эти связи помогали в работе, на эти связи и надеялся Головин, когда пошел один ночью в село.

Немеджан протянул высокую каракулевую шапку, длинную верхнюю одежду. Село спало. Да если бы и встретился кто, то вряд ли признал бы в невысоком крестьянине чекиста. И все же идти по селу не рискнули. Выйдя в лес и дав крюк, зашли с другого конца и бесшумно подобрались к задней стене небольшого домика. Немеджан быстро подтащил загодя примеченную лестницу, Головин забрался на чердак. Аккуратно поставив лестницу на место, Немеджан той же дорогой ушел домой.

Пристроившись возле слухового окна, чтобы видеть двор и каждого входящего, Головин стал ждать. Да, теперь только ждать. Как долго? Об этом знает один Кобыль, но вряд ли он заранее сообщит тому, кто его подстерегает. Ждать, ждать и ждать. Терпеливо, сколько придется. Хорошо еще, что дымоход теплый, а то и недолго замерзнуть. Тем более, что ни шевелиться, ни двинуть затекшей ногой нельзя: услышат в доме, предупредят Кобыля. Ну что ж, будем надеяться, что Кобыль не запоздает на любовное свидание.

Ждать, ждать... А сколько можно ждать?.. И откуда вдруг взялся начальник?.. А с ним сестра?.. Как же так? Она ведь в разрушенном Донбассе? Когда же она узнала начальника?..

А, дьявол! Чуть не заснул. Вот еще беда! Или заснул? Прозевал?! Нет, в доме тихо, спокойно и снаружи никого не видно. Надо держать себя в руках, а то и правда еще

заснешь. Который же теперь час? На дворе темным-темно. А дымоход совсем холодный. Значит, скоро рассвет, женщина затопит печь. Скорее бы, а то уж очень стыло.

Робкий, бледно-синеватый рассвет заглянул в чердачное оконце. Хлопнула дверь в доме, раздались шаги во дворе. Осторожно глянув, Головин увидел женщину с дровами. И никого больше.

Прошел час, другой, третий... Никого! Вот так обстановка! Хотел поймать Кобыля и сам оказался в ловушке. Теперь до ночи отсюда не выбраться. А как же на работе? Поднимет начальник тревогу, разошлет людей на поиски. Пропал оперативный работник, не шутка. Надо было хоть как-то предупредить. А теперь сиди и жди темноты...

Часа в четыре дня, когда все надежды были уже давным-давно окончательно потеряны и наступило полное безразличие — будь что будет! — хлопнула калитка и во дворе раздались тяжелые мужские шаги. Глянув в окно, Головин сразу признал по описанию Кобыля. Подождав, пока тот зайдет в дом, разденется, устроится, сядет за стол, одним словом, подождав минут десять, Головин спрыгнул с чердака, рывком толкнул дверь и с пистолетом в руке ворвался в дом. Навстречу поднялся коренастый мужик и начал лихорадочно шарить вокруг себя.

— Руки! Признаешь, Мыкола?

Чуть подняв руки, Кобыль быстрым взглядом окинул чекиста, усмехнулся:

— Признаю. Кителек плохо спрятал.

— Выше руки, Мыкола, выше. Так то я не от тебя. Разве тебя обманешь? Опытный.

— А ты як думал? В нашем деле тильки так,— все с той же усмешкой проговорил Кобыль, опуская руки.

— Нет, ты уж руки подними. Вот так! Сам пойдешь или вязать?

— Сам! — крикнул Кобыль и бросился на Головина.

Павел Васильевич встретил его ударом пистолета по голове. Кобыль упал, успев дернуть чекиста за ногу. В какую-то секунду Кобыль изловчился и перехватил пистолет, оставалось только нажать курок. Но Головину удалось оглушить его ударом кулака и опять завладеть оружием. Еще один удар, на этот раз рукояткой пистолета, и Кобыль затих.

Через несколько минут крепко стянутый по рукам и ногам, уложенный в сани, Кобыль под охраной окровавленного Головина был доставлен в рабочий центр.

...Почему так часто и подробно вспоминается именно эта история? И не только Головину, но многим: местным жителям, пограничникам, районным работникам? Ведь с той поры много воды утекло из горных пограничных речек, состарились участники и свидетели того события...

Почему же?

Прежде всего потому, что граница — не только полоса земли, где стоит столб с гербом. Граница — это близлежащие села и хутора, реки и горы, дороги и тропки. А тут уж без помощи местного населения не обойдешься, без шофера такси, который сообщил Головину о том, что привез неизвестного, без хозяйки дома, которая дала знать о своем неожиданном госте, без многих других...

Идет по райцентру человек. Со всеми здоровается, вежливо раскланивается: знает он тут каждого. И думает о своем. О том, что появился внук — и прибавилось забот. Что редко приезжают гостить из Донбасса сестры: некогда и горы пугают... Да, горы поначалу кого хочешь испугают. Сам когда-то, если говорить правду, струхнул: горы, долгие зимы со снежными заносами, короткое лето со страшными грозами, овощей и фруктов нет, сирень, и та цветет на месяц позже, чем в этих же краях на низине... До этого самыми высокими местами, с которым встречался, были терриконы на шахтах. А тут такая высота! И вовсе не для любования, не для того, чтобы смотреть снизу, — лазить приходится. Может быть, теперь и не так часто, как раньше, — все-таки начальник, но раза два-три в месяц — это уж непременно.

...Бегут мысли, а глаза подмечают все вокруг. Заканчивают строить школу... Отремонтировали мост... Заасфальтировали площадь... Забетонировали основание под памятник...

...Когда принимали решение об этом памятнике, кто-то не выдержал натиска Головина, а без натиска, без постоянного беспокойства вряд ли заложили бы этот памятник и установили, и в сердцах проговорил:

— Да что вам, Павел Васильевич, больше всех, что ли, надо?

Промолчал тогда Головин, не стал ни спорить, ни отвечать. Да и как ответить?

Человеку много надо! Не только свой домик и свой клочок земли. Человеку нужны все дома, вся земля. На то он и человек!

День начальника районного отдела КГБ зачастую начинается с посетителей. Приехал за десятки километров председатель колхоза. Приехал по своим делам в райцентр, но как не побывать у Головина и не рассказать о том, как идет заготовка сена в пограничной зоне!

— Значит, будете с кормами? — спрашивает Головин. — Ну, а как отношения с начальником заставы?

— Хорошо, Павел Васильевич, очень хорошо. Как вы тогда нас познакомили, с тех пор работаем дружно.

В другой раз завернул в отдел начальник заставы. Тоже вроде без определенных целей, но как не поговорить с Головиным, не рассказать о жизни заставы!

Пришел директор лесозавода. И у него есть дела, связанные с границей.

Разные бывают посетители. Один пришел со своими мыслями и личными планами, другому надо просто поговорить с начальником о жизни... Мало ли какие бывают у людей потребности? А выслушать внимательно нужно каждого, выслушать, поговорить, посоветовать. Иначе нельзя. Потому что без местного населения, без тесной связи с ним и его помощи он, подполковник Головин, и возглавляемый им отдел мало чего будут стоить. Это он сам понял давно и не устает повторять своим работникам.

Но бывают такие посетители, к сожалению, с каждым днем все реже, при виде которых молодеет начальник отдела лет на двадцать с гаком, стремительно выбегает из-за стола, обнимает седого ветерана, усаживает его в кресло, долго и любовно смотрит на изрезанное глубокими морщинами лицо, на пепельные, обвисшие, некогда лихо подкрученные вверх или вытянутые в стрелку усы, на выцветшие глаза, потом спрашивает:

— Жив? Здоров? А где Михайло?

И легкой тенью набегают на лица грусть при воспоминании о ранах, смертях, обильной крови, погибших товарищах. Нет, не на войне, а после нее, когда начинали мирную жизнь и думали, были уверены, что все страшное позади. И вдруг — банды. Поднялись тогда вот эти нынешние ветераны, которым в ту пору было по двадцать пять, тридцать, а то и за сорок — разве дело в годах! — и, вооружившись, поначалу обороняли от банд

себя, свои семьи, дома, села, а потом начали преследовать банды и одну за другой уничтожать. И вместе с ними — молодой оперативный работник Головин.

— ...Так жив, говоришь, Михайло? Что ж он глаз не кажет?

...Бандиты ворвались в село ночью. И сразу — до хаты Михаила Григоряка. Услышав громкие голоса и бешеный стук в дверь, Михаил понял, кто явился. Знал, что не простят ему бандиты отказа помогать им. Правда, и в активистах Михаил не ходил, держался мужик середины, думал, авось пронесет, обойдется, а там — жизнь поне-много наладится...

Не обошлось, не пронесло.

Ударив Михаила ногой, главарь банды спросил:

— Долго тебя еще уговаривать? Пойдешь с нами?

Михаил молчал — то ли от боли, а может быть, от страха.

Повторив вопрос и не дождавшись ответа, бандит резанул автоматной очередью, пихнул безжизненное тело ногой, кликнул банду и умчался.

Очнулся Михаил от страшной боли. Попросил жену принести чистый рушник, туго замотал простреленный живот, с трудом приподнялся и, шатаясь, побрел к дверям.

— Куда? — вцепилась в него жена. — Не пущу!

— Молчи! Надо!

Долго шел по горам тяжелораненый Михаил Григоряк. Падал, поднимался, опять шел... Терял сознание, и не раз. Казалось, силы на исходе. И все же полз к заставе. Знал одно: дойти, во что бы то ни стало дойти и предупредить о появлении банды.

И дошел. Сообщил. По следам банды ринулись бойцы.

...Часами, а то и днями можно вспоминать бои с бандами, горные походы, бессонные ночи. Особенно если вот так неожиданно придет в гости — да какое там в гости, скорее, случайно забредет — бывший пограничник или сослуживец. Мало осталось их теперь в живых, а оставшихся разбросала жизнь. Вроде бы и недалеко друг от друга — в соседнем районе, за перевалом. Но иной раз годами не выберешься друг к другу. Зато если уж выбрались, если встретились, как не вспомнить былое.

...Это село считалось самым бандитским. Здесь была

основная база, потаенные бункера, в которых хранилась пища, литература, печатные машинки, документация, оружие, боеприпасы.

Не день и не месяц ходили вокруг села бойцы, устраивали засады. Но бандиты каждый раз ускользали.

В тот раз отряд расположился на стоянку возле села. Зима морозная, суровая. Помимо часовых назначался еще один человек, который через сорок минут будил спящих в лесу бойцов и заставлял их повернуться на другой бок.

Днем на стоянку забрел мальчишка.

— Дяденька, вам не бандиты нужны?

— Как тебе сказать,— неопределенно ответил Головин.— А ты чей будешь?

— Ничей,— охотно сообщил мальчик.— Папку убили, а мамка умерла.

— Кто убил?

— Хиба ж я знаю.

— Как же тебя зовут?

— Вася. Дубецкий.

— Ну и почему же ты, Вася Дубецкий, интересуешься бандитами?

— Так я знаю, где воны ховаются.

Головин привстал от неожиданности, но тут же постарался скрыть волнение. Что это? Удача или провокация? Подослан кем-нибудь мальчишка или честный паренек?

— Ну, расскажи, Вася, что ты знаешь. Послушаем. Может, тебе набрехали, а ты нам сейчас сказку рассказешь.

— Ни, дядя, сам видел. Вон в той стодоле бункер. Там воны. А хозяева их кормлють.

Стодола, проще говоря, сарай находилась в конце села и была видна из леса. Идти к ней, окружить? Поверить мальчику?

— Зараз их немає. Я вам скажу, колы они будуть.

Прошел день, другой. Мальчик не приходил. Не было его и на третий день.

— Пропал ваш мальчишка,— сказал начальник отдела.— Нет ему, видимо, расчета приходить. Не тот оказался.

И вдруг появился. Неожиданно. Когда его перестали ждать.

— Пришли до бункера,— сообщил он.— Там.

Головин переглянулся с начальником.

— Бери машину, людей, действуй! — решил начальник.

Не соврал мальчишка, бандиты оказались на месте.

...Где ты теперь, ничей мальчик Вася Дубецкий? Определили тебя тогда в детский дом, потом ты уехал куда-то учиться и пропал след. Работаешь где-нибудь далеко и ни разу, видно, не был в родных местах. А может быть, и приезжал, но не знал, что тот самый дядька, который тогда не сразу поверил тебе, по-прежнему живет и работает в горах, только в другом районе...

И еще одно событие вспоминается...

...Четверо солдат и шестеро активистов под командованием Головина шестой час взбираются на гору по глубокому, выше пояса снегу. Прежде чем шагнуть, надо лопатой отбросить снег. Шаг — и опять лопаты. А впереди еще двенадцать горных километров до села, где сейчас бандиты, и потом — непременно жестокий бой.

Мелькают лопаты, тяжело дышат бойцы, горячий пот льет из-под шапок... Добраться бы до вершины, может быть, там легче будет. Осталось совсем немного — метров пятьдесят-шестьдесят...

Выбрались на вершину и повалились в снег — не так от усталости, как от отчаяния. Впереди — опять снежная целина, ни дорог, ни тропинки. Только петляет быстрая речка.

— В реку! — скомандовал Головин. — Пойдем водой.

Километров пять брели по стылой воде. Потом речка свернула в сторону. И опять пришлось пробиваться через снег. Вышли прямо к селу. И тут же раздались бандитские выстрелы...

Много лет спустя, когда уже навсегда было покончено с бандитами, а воспоминания о жестоких боях и трудных горных походах стали историей и сохранились только в памяти тех, кто постарше, опять уходил в горы Головин — не раз, не два и не три, а бесчисленное количество, столько, сколько требовала служба. Разве что с другими, не столь рискованными заданиями, без стрельбы, без крови, без смертей. И опять была ночь, и снова падал снег, и с трудом пробивался через сугробы уже немолодой человек, по несколько дней не возвращаясь домой.

Проснулся как-то ночью сын — он тогда учился в школе, в шестом или седьмом классе, — посмотрел на

измученную ожиданием мать, на усталого, только что вернувшегося, насквозь вымокшего отца и неожиданно спросил:

— Почему у тебя такая работа, папа? Живут же люди спокойно. Да и лет тебе немало.

Отец погладил сына по взъерошенной голове и тихо проговорил:

— Чтобы люди жили, как ты говоришь, спокойно, я должен не спать ночами. Не я, так другой, но кто-то должен. Понял?

XI

Неизвестный снова направился к границе. На этот раз он шел в район лесного склада, территория которого на протяжении километра с лишним проходит неподалеку от самой границы. «Вот,—размышлял неизвестный,—самое удобное место для перехода. Только бы незаметно пробраться на склад. Впрочем, вряд ли уж так трудно будет прошмыгнуть мимо шестидесятилетнего старичка, который к тому же клюет носом».

XII

Жители пограничного района были в эти сутки особенно настороже. Внешне вроде бы все шло своим обычным чередом: косили сено колхозники, валили деревья лесорубы, хлопотали хозяйки, бежали в школу ребятишки... Но каждый внимательно присматривался к проходящим и проезжающим.

Нет, не надо думать, будто в пограничном районе люди только и занимаются тем, что зорко смотрят по сторонам и держат, как говорят, уши на макушке. Ничего подобного. Обычные дела, обычная жизнь.

И все-таки что-то такое есть в жителе пограничного района, отличающее его от других. Готовность к любым неожиданностям, что ли, а может быть, бдительность, внимательность, незаметно, исподволь воспитанная в нем с ранних лет. Потому что живет он рядом с границей и чувствует свою ответственность за нее...

На проходной лесосклада дежурил в эти сутки Николай Амвросьевич Старожитник, тот самый старичок, ко-

торый вроде бы клевал носом и мимо которого неизвестный удачно прошмыгнул. Откуда было знать нарушителю, что Старожитник успел уже позвонить Головину и пограничникам, получил указание дать возможность неизвестному проникнуть на территорию и внимательно наблюдать за ним?

XIII

Неизвестный начал пробираться к штабелям леса. Старожитник забеспокоился: совсем близко к пограничным знакам, тут уж не до наблюдения. Самое правильное будет спугнуть неизвестного и заставить его уйти подальше от пограничной полосы.

Сладко потянувшись, громко зевнув, Старожитник вышел из проходной будки. Увидев сторожа, неизвестный подался назад и скрылся за штабелями леса. Медленно прошел Старожитник по складской территории, выбрал удобное бревно как раз между штабелями и пограничной полосой, сел, не спеша закурил. Прошло минут пять, десять, а может быть, и больше. Любому со стороны показалось бы, что старый сторож или опять задремал, или о чем-то глубоко задумался. Но каждой клеточкой чувствовал Старожитник напряженную, тревожную тишину за своей спиной. Ага, вот и так долго ожидаемый шорох, едва слышные шаги, такие тихие, что, не ожидай их Старожитник, мог бы и пропустить.

Старик стремительно поднялся и повернулся к неизвестному. Так стремительно, что тот опешил: да неужели перед ним полусонный старичок из проходной будки, ничего не увидевший с полчаса назад и не услышавший?

В эту минуту послышался рокот машин. К неизвестному бежали пограничники — Костин, Макеев, Соколов... К Старожитнику спешил Головин:

— Жив?

Старик тяжело опустился на бревно.

* * *

На границе начинались новые сутки. На охрану рубежей встал очередной заслон — пограничники, сотрудники государственной безопасности, жители приграничных районов — крепко спаянные звенья единой цепи...

А НА ПЛЕЧАХ
У НАС
ЗЕЛЕННЫЕ
ПОГОНЫ...



...Эта капсула с завещанием тем, кто через двадцать лет наденет зеленые погоны или встанет в ряды юных друзей пограничников, будет замурована в памятник Герою Советского Союза лейтенанту Ф. В. Морину на заставе его имени и вскрыта 28 мая 1998 года, в день празднования 80-летия пограничных войск Советского Союза.

Пусть знают потомки, как мы жили и боролись, о чем мечтали, к чему стремились и какими хотим видеть наших сыновей, внуков, правнуков.

Ветераны-пограничники.

Бойцы и командиры

заставы имени Морина.

Юные друзья пограничников.

Последние строчки Семен Яковлевич Яцюк прочитал почти шепотом, так и не сумев справиться с волнением. Ничего не поделаешь — нервы! И годы! Он уже далеко не тот молодой офицер с крепким здоровьем, мгновенной реакцией, твердой рукой и звонким голосом, который водил солдат в бой — в Сталинграде и на Украине, в Польше и Германии. Побаливает сердце, ноют раны, плохо видят глаза... Но пока есть силы, надо сделать все, чтобы эти ребята в зеленых фуражках, миллионы их сверстников по всей стране впитали, переняли все лучшее, что было у отцов, — жар души, преданность Родине и самоотверженность.

Вот почему написал Семен Яковлевич вместе с другими ветеранами завещание потомкам и читает его сейчас пограничникам заставы имени лейтенанта Морина, гостям, собравшимся со всей округи на День пограничника.

Притихли вчерашние школьники, рабочие, колхозники из Молдавии, Украины, Белоруссии, Башкирии, Мордовии — совсем разные, совершенно непохожие в неда-

леком прошлом и крепко спаянные нелегкой пограничной службой, воинской дружбой, гордостью зелеными погонами и зелеными фуражками. Только голос звучит:

Сегодня ночью все спокойно на границе,
но все равно застава не смыкает глаз:
в любой момент ракета может взвиться,
в любой момент приказ «В ружье!» поднимет нас.

Александр Горобцу припомнился самый первый день на заставе. Давно это было — два года назад! А вроде бы только вчера. Семьсот с лишним емких, насыщенных дней, каждый из которых в иных условиях равен месяцам. Два долгих года! Сколько раз говорили об этом с ребятами — размышляли, вспоминали, дополняли друг друга.

Устные солдатские мемуары. Интересно, как бы они выглядели на бумаге, если собрать их воедино? Может быть, вот так...

I

...Еду в погранвойска! На заставу имени Морина — куда и хотел.

А ведь совсем недавно ничего не слышал и не знал об этой заставе. Все произошло случайно.

Началось с того, что наша школа решила участвовать в игре под названием «Кордон» — классный руководитель Галина Ивановна Кудь предложила обсудить опубликованные в пионерской газете вопросы, связанные с границей, просьбу к школьникам присылать ответы. Победителей обещали направить в пионерский лагерь «Молодая гвардия» и даже на заставы.

Пионерским лагерем нас не удивить — кто в нем не бывал! А застава — это уже интересно. Представляете, возвращаюсь я с заставы в новенькой, специально для меня сшитой пограничной форме, с овчаркой на поводу. Мальчишки от зависти лопнут, девчонки с ума сойдут, сам директор будет с уважением смотреть на меня...

Теперь-то я знаю, что никто не отдаст собаку с заставы. И пограничную форму так просто, для красоты и забавы, не дают — ее надо заслужить и оправдать. А тогда...

В общем, решили мы, четвероклассники, попробовать — ну, еще одна игра среди многих других — жалко,

что ли! А если к тому же победим? Хочешь не хочешь, а посылай нас тогда на заставу — никуда не денешься.

Начали, попробовали и так увлеклись, что забыли все остальные мальчишеские игры. Не так просто оказалось дать правильный, полный ответ на вопросы. Ну, например, на какой границе служил Карацупа и как звали его первую собаку? Сколько разрушителей задержал прославленный пограничник Смолин? Кто написал книгу «Граница в огне»? Какой подвиг совершил Лопатин, именем которого названа застрада?..

А ответить ох как хотелось — что мы, хуже других, что ли! Запрашивали отряды, политотделы, застравы; узнавали адреса родственников героев, списывались с ними; читали и перечитывали десятки книг; в поисках истины спорили друг с другом... Мы стали такими знатоками границы, что хоть немедленно бери любого в погранвойска. И самое главное — заочно полюбили границу и все, что с ней связано.

И вот — радостная весть: мы стали победителями! Среди многих сотен школ и неимоверного количества знатоков!

Один год, второй, третий... Нас официально стали называть школьной пограничной заставой и предложили выбрать имя героя-пограничника для присвоения нашей заставе.

Вот когда пришлось крепко подумать — куда больше, чем при ответах в газету. Чье имя взять? Рядового Варавина? Старшего лейтенанта Поливоды? Старшины Пархоменко?.. Обидно, что нельзя взять всех героев сразу. Но если уж из многих одно имя, то тогда Морина.

Мы читали и перечитывали, произносили наизусть строки о его подвиге:

...Они поднялись во весь рост и с винтовками наперевес пошли навстречу врагу. Страшен был их вид: почерневшие от пороховой гари лица, засохшие пятна крови на гимнастерках... Шли они, тяжело ступая по исхлестанной свинцом земле. Немцы прекратили огонь, решив, что пограничники идут сдаваться в плен. Уже выскочили автоматчики, чтобы отобрать у них оружие. Вдруг шедший впереди лейтенант запел «Интернационал». Пролетарский гимн подхватили остальные. И когда пограничники бросились вру-

копашную, стало понятно, что героическую смерть они предпочли позорному плену.

Так погибли лейтенант Федор Васильевич Морин и восемь бойцов-пограничников, имена которых не установлены».

А сумел бы я под пулями запеть «Интернационал»? Или кто-нибудь из наших ребят? Будем носить имя Морина! Но для этого надо было еще получить согласие самой заставы. А так просто это согласие не дают. Его надо заслужить!

Наконец, после нашего очередного рапорта, пришло письмо с заставы и наша пионерская застава получила имя Героя Советского Союза Федора Васильевича Морина.

А весной мы поехали на заставу.

Пять дней пролетели как один миг, оглянуться не успели. Мы, мальчишки, всерьез требовали от нашей классной руководительницы Галины Ивановны Кудь продлить срок пребывания на заставе: ну что это за служба, которая вмещается в пять дней — несерьезно, несолидно. Галина Ивановна отшучивалась, а когда увидела, что наши требования принимают серьезный характер, коротко напомнила о дисциплине. Привела в пример пограничников. И тогда мы сникли. Что-что, а силу дисциплины даже за короткий срок успели познать и почувствовать, без нее не может быть никакой службы, тем более пограничной. Мы слышали, как отдается приказ на охрану границы; познакомились с жизнью и уловили ту не всегда заметную грань, которая отделяет служебные отношения от товарищеских. И еще поняли, что самодисциплина — большое и ответственное чувство, которое помогает солдату отлично нести службу.

Трудно было расстаться с заставой и со всем необычным, что окружало нас. Собаку и форму нам не подарили — наивные мальчишеские мечты, рассыпавшиеся на заставе и сменившиеся совсем другим — более взрослым — отношением к службе и даже к жизни. Но мы получили большее: настоящих, верных друзей, душевных, заботливых шефов. А многие из нас — и я в том числе — стали всерьез думать о границе.

Когда пришло время служить в армии, никто не удивился моему желанию попасть именно на заставу Морина, не отмахнулся, не остался равнодушным к просьбе

призывника. Правда, поинтересовались, почему именно эта застава. Я пояснил — и тут же все решилось.

И вот еду служить на моринскую заставу. За окнами мелькает пейзаж: поля, лесочки, уютные домики с садами... Незаметно они меняют очертания: сужается и теряет свою бескрайность степь, все чаще встречаются холмы, а где-то впереди, в дымке, они уже поднимаются заметной горной грядой; иными стали дома — более строгими, что ли, суровыми, устремившимися острыми крышами и шпилями в небо, словно не хватает им места на земле...

Кто-то умно заметил, что первую половину пути человек думает о доме и о тех, с кем расстался, вторую половину — мысли устремляются вперед, в будущее, туда, куда он едет. Я смотрю в окно, подсознательно отмечая перемены, а думаю о том, как встретит меня застава и как пойдет служба. Увижу ли кого-нибудь из тех, с кем познакомился во время школьной поездки — пусть не солдат, они уже давно уволились из армии, а офицеров; узнаю ли я старые места, и вообще как все будет? Я ведь не неженка, не белоручка, многому научился в селе, ко многому привык. Правда, границу охранять не умею, не приходилось, но для того и служба, чтобы научиться. В прошлый раз один из старослужащих сказал:

— В армии так: не умеешь — научим.

Помолчал чуть и с улыбкой добавил:

— Не хочешь — заставим.

Добавка мне не очень понравилась, хотя я и понимаю, что дисциплина прежде всего, а солдат обязан всему научиться. Но само слово — «заставим»!.. Не люблю, когда заставляют, да и никто не любит. Мастер в телевизионной мастерской, где я успел до призыва поработать после того, как окончил специальные курсы радиоэлектроники, рассказывал, что он в армии не терпел лыжные кроссы, хотя был хорошим лыжником и ничего не стоило ему пройти каких-нибудь десять километров. А все потому, добавлял он, что не в охотку идешь. Я ему не поверил. Он посмотрел на меня, как слон на моську, и сказал:

— Отмеряешь свое, тогда и говорить будешь.

А вдруг не придется меня заставлять, все пойдет хорошо, гладко и с полным основанием смогу написать об этом Рае? Вот кто обрадуется моим солдатским успе-

хам! С седьмого класса дружим, за одной партой сидели, в армию провожала...

Да, но где же застава? Все вроде бы знакомое — и вспаханные колхозные поля, и зеленые пограничные вышки, и лес, сбегаящий с высоты в низину, и озерцо уже на той, не нашей стороне, и узенькие клочки полей на склоне холмов... Все вроде то — и не то. Помнится, застава была вон в том уютном красивом лесочке, что прижался к самой границе. А нас почему-то ведут в другую сторону, где на голом, со всех сторон продуваемом месте стоит огороженный забором серый двухэтажный дом, построенный буквой Е, без средней палочки. Мне даже забько стало, несмотря на яркое, теплое, почти летнее солнце.

— Что случилось? — подошел начальник заставы.

Как ему ответить? Ничего вроде бы не произошло, только отняли у меня какую-то частичку прошлого. Так бывало со многими — я еще не успел испытать, отец рассказывал: с трепетом едешь в давно знакомые места, по дороге бережно припоминаешь, потом оказывается, что все осталось таким только в памяти.

— А где же прежняя застава? — вырвалось у меня.

— Бывали здесь? — уточнил капитан. — С классом? Тогда понятно.

Он провел меня по всему небольшому городку, обращая внимание на новые каменные гаражи, спортивные площадки, учебный комплекс... Потом пригласил в здание.

Я далек от мысли считать себя знатоком застав — всего-то вторую вижу за свою жизнь, даже сравнивать не с чем. Но по рассказам старших знаю, как выглядит и что собой представляет военная казарма: как ее ни вылизывай, что с ней ни делай, а она остается казармой — да иной, наверное, и не должна быть.

Собственно говоря, к такой казарме я себя и готовил. А тут вдруг попадаю в помещение, которое во всем, буквально во всем, удивительно напоминает заводские дома отдыха, или, как их еще не очень звучно называют, профилактории. Мне приходилось со школьной самостоятельностью бывать в них, и я всегда наслаждался чистотой, домашним уютом, которые совсем не просто создать в казенных, на много людей рассчитанных зданиях.

Вот и сейчас я попал вроде бы в такой же профилакторий: тишина, свежая краска, строгое оформление,

уют... Спальные комнаты напоминали общежитие только количеством кроватей, а так — ни за что бы не подумал. Мягких тонов занавеси и за ними глухие шторы на окнах, чтобы можно было спать и днем; элегантные тумбочки и современные стулья вместо табуреток; встроенные в стенку и закрывающиеся отделанными под дуб дверями шкафы; светлая библиотека и зимний спортивный зал, комната боевой славы и кинозал, чистенькая кухня и украшенная картинами столовая, классы для занятий, помещение для сушки одежды...

Капитан смотрел с улыбкой:

— Ну и как? Правда, само место мне тоже кажется неуютным и голым,— неожиданно признался он.— Но ведь не на один год поселились. Будем обживать. Вон сколько деревьев уже посадили. И вы будете сажать. Вот так. На этом закончим лирическую часть.

И, будто подслушав его, динамики разнесли по всему зданию, по всей территории команду:

— Вновь прибывшим построить в вестибюле.

К нам вышли командиры заставы, с которыми отныне два года будет накрепко связана наша жизнь.

— Вы вступаете в семью пограничников-моринцев,— говорил капитан.— Высоко несите честь и имя нашей заставы...

Прозвучала команда. Строй рассыпался. Нас окружили старослужащие.

II

Недели пролетели как один день. Кончились небольшие послабления, которыми мы пользовались как только что начавшие службу. Теперь уже не терпеливый рассказ и показ, а жесткий, суровый приказ, мгновенное четкое исполнение каждой команды.

Удивительно, как сжимается в армии время и как много оно вбирает в себя. Если бы всюду так быстро ковали специалистов! Сколько же в каждом из нас таится возможностей, о которых мы сами понятия не имели!

Игорь Янушкевич, минский парень, телефонист по военной специальности, с удивлением и каким-то недоверием смотрит на свои руки:

— Черт знает что! Никогда не думал. Слесарил на заводе, учился в вечернем институте... Скажи мне кто-

нибудь раньше, что буду дрова пилить и колоть, полы с мылом драить, окна мыть,— не поверил бы.

— Косить...— подсказывает веселый круглолицый Зайцев.

Игорь подозрительно смотрит — не смеется ли?

— Дома понятия не имел ни о чем таком,— продолжает Игорь.— Зачем мне в городе дрова, когда газ и электричество?

— И полы мама помоеет,— опять не удерживается Зайцев.

— Да, мама,— с каким-то сожалением говорит Игорь.

Застава — это самостоятельная единица, почти полностью и во всем обслуживающая себя. Охранять границу — ее главная задача. Поначалу мы ходили на службу обязательно с офицерами или, в крайнем случае, с опытными сержантами. Все быстро усвоили виды нарядов и свои обязанности. А вот когда будем знать каждую пядь границы, слышать, чувствовать ее, как старослужащие или офицеры?

Зайцев все больше обращает внимание на пение птиц. Стоит ему выйти на границу, как он тут же превращается в деревенского мальчишку, каким был всю жизнь и которого не успел переделать Минский автозавод, где он до службы недолго поработал.

— Птички поют,— восторженно говорит он вслух, скорее всего самому себе, потому что старший наряда старослужащий Алексей Марченко идет позади, чтобы границу видеть и контролировать действия младшего.

Марченко не слышит Зайцева. Но то ли потому, что уже хорошо его изучил, или по другим причинам догадывается о том, что мысли младшего далеки от границы. Он не нервничает и не пытается догнать своего напарника, старослужащий Марченко, он выдержан, как истинный пограничник. Всему свое время и свой срок.

В конечной точке маршрута, где наряд сходится, чтобы обменяться мнениями и повернуть назад, Зайцев опять говорит:

— Птички поют.

На круглом лице его такая искренняя радость, что никак не хочется омрачать ее. Невысокая, ладно сбитая фигурка выражает полное довольствие и покой, словно пошел он по грибы или по ягоды.

В другое время Марченко вместе с ним любовался бы природой — он тоже вырос в деревне, и природа не безразлична ему. Но сейчас он строго спрашивает:

— А кроме птичек вы ничего не заметили? Нет? На обратном маршруте ваша задача — вести наблюдение за внешней стороной КСП, моя сторона — внутренняя. О каждом следе или подозрительном месте — докладывать!..

Птички поют еще громче, но Зайцев уже не слышит их — взгляд его устремлен на контрольно-следовую полосу.

Нас непрестанно учат следопытству в учебном городке, где на больших щитах показаны следы животных, человека и автотранспорта, сказано, как по ним определить рост, шаг, направление... Но одно дело — учебный городок и совсем другое — настоящая, бдительно охраняемая полоса. Кто мог подумать, что в этих вроде бы открытых местах с не очень густыми и большими лесами водится столько зверья. Олень, кабан, коза, лиса, барсук... Все они здесь непуганые, нестреляные — зона пограничная, запретная — вот и разгуливают по контрольно-следовой полосе.

КСП — зеркало пограничника. Так говорят на заставе. Мутное у меня зеркало, туманное: не даются следы — хоть лопни!

Игорь Янушкевич справедливо заметил:

— В наше время добровольцев нет, это не война. Каждый идет служить по призыву, все вроде бы одинаковы. Но потом начинается разница: одни служат охотно, другие из-под палки. Не завидую тем, кто из-под палки — два года мучений. Служить так уж служить.

Я тоже так думаю. Но для этого надо овладеть следами. И решил я призвать на помощь Олега Иванова, инструктора службы собак.

Никак не могу понять и все удивляюсь: как умеют в пограничных войсках распознавать способности человека, о которых он сам не знал? Леша Жилич коров видел издали, а тут проявил такую любовь, что все наше стадо, даже прижившийся на заставе олененок Малыш, бежит на его голос и непременно ждет ласки. Я вдруг стал библиотечарем. Ну хорошо, в способностях и возможностях других могу ошибиться, но себя-то знаю: какой из меня библиотечарь, если читал от случая к случаю и никогда не отличался любовью к книгам? Игорь

Янушкевич — другое дело: грамотный, начитанный, студент-заочник. Или ефрейтор Николай Кузнецов, начальник узла связи, который вырос в Москве и окончил мудреный приборостроительный техникум. Правда, образование у всех солдат почти одинаковое — десятилетка, техникум, первые курсы заочных и вечерних отделений институтов. Но что ни говорите, а среда, воспитание, окружение много значат для общего развития.

Поначалу испугался: с чего начинать, как подступиться к библиотеке?

А теперь все книги помню. И если кто-нибудь загнет уголок листа — больше книгу не получит, как бы ни просил и кто бы ни приказал, пока сам не увижу, что понял, дошло, пережил.

Ребята в личное время письма сочиняют, песни поют, дом вспоминают, о своих родных местах рассказывают. А Иванов тащит меня в учебный городок. Нанесет следы и заставляет распознавать их. Да еще злится:

— Лучше смотри.

Я смотрю до боли в глазах. И постепенно запоминаю характерные признаки, кое-что начинаю различать, будто далекий прожектор подсвечивает в глухой темноте. Иванов скуп на похвалу.

— Завтра еще,— роняет он.

Я бреду усталый, почти обезноженный домой, смотрю на портреты героев-пограничников и думаю: а как служилось им, вошедшим навсегда в историю?

Мы знаем всех пограничников, чьими именами названы заставы нашего отряда: старшина Пархоменко, Герои Советского Союза ефрейтор Пустельников, заместитель политрука Петров, лейтенанты Лопатин, Морин и другие. В первом отделении нашей заставы стоит аккуратно застеленная кровать Морина. На боевом расчете, когда нам объявляют, кто и когда в очередные сутки идет на службу, первым называется Герой Советского Союза лейтенант Морин.

Какими они были, наши предшественники, наши отцы или, скорее, деды?

«Я, Морин Федор Васильевич, родился 23 декабря 1917 года в селе Васьянское Бежецкого уезда Тверской губернии, в семье крестьянина. Семи лет поступил в Васьянскую сельскую шко-

лу. Вскоре семья переехала в Ленинград, где отец Василий Дмитриевич начал работать сверловщиком на заводе. Я продолжал учебу в школе № 24 Ленинграда. В 1935 году, окончив семь с половиной классов, поступил в техникум советской торговли. Учился два года, был переведен на третий курс, но так как меня все время привлекала военная специальность, то при первой возможности, в 1938 году, я поступил в Орджоникидзевское военное училище НКВД. В феврале 1940 года был досрочно выпущен из училища с присвоением воинского звания «лейтенант» и направлен служить в 91-й погранотряд. В марте 1940 года был принят кандидатом в члены ВКП(б). Холост.

Из автобиографии».

«...Политически развит, идеологически устойчив. Бдителен.

С обязанностями справляется хорошо. Решительный. Дисциплинирован. Военная подготовка по занимаемой должности хорошая. В обстановке ориентируется быстро и решения принимает правильно. Авторитетом среди товарищей пользуется. Стреляет из всех видов оружия хорошо. Физически развит, в переходах вынослив, на снарядах работает отлично. Службу нести может в любых климатических условиях.

Из выпускной аттестации».

Когда я слушаю рассказы моего отца о довоенном времени, о войне — а отец принадлежит к тому поколению, что и Морин, если не считать нескольких лет разницы в возрасте, — меня всегда поражает какое-то удивительное знание ими своей цели и упорное стремление к ней. Будто из другого они, особого материала, словно прежде чем выпустить в жизнь, их долго и умело закаляли в каких-то специальных горнилах.

Кузнецов сказал:

— И мне так кажется. Но если хорошенько подумать, такие же люди, как и мы: любили, страдали, спорили, ругались... И в этом их сила и величие. Это теперь, на расстоянии, они кажутся иными. Но уверен, все у них было. И ругали их так же, как нас, грешных...

Да, уж что-что, а ругают нас всюю. И такие мы, и сякие... Иной раз не выдержишь и прямо спросишь:

— Чего вы от нас, дорогие, хотите, почему без конца напоминаете о лучшей доле? Все правильно, живем мы куда беззаботнее и спокойнее вас — и спасибо вам великое, низкий поклон — мы знаем, что такая жизнь добыта вами, вашим трудом, даже жертвами. Но что же нам, носить рваные штаны, чтобы походить на вас, прошлых, время от времени устраивать искусственно голод или отказаться от всех достижений человечества и перестать пользоваться, скажем, часами, помня, что у вас их не было на руках?

Отец коротко ответил:

— В этом ли дело? Носи на здоровье, пользуйся, только голову не теряй и из души не вытряхни все хорошее.

Дорогой мой батько! А почему ты решил, что я непременно потеряю голову? В кого нам быть плохими, если вы, которые строили, воевали, восстанавливали, незаметно, своими поступками учили нас всему хорошему? Да протри ты глаза, посмотри, кто вокруг тебя работает — на заводах, стройках, прокладывает БАМ, тянет линии высоковольтных передач; кто, как не мы? Приезжай сюда — и ты увидишь, кто охраняет тебя и всю нашу Родину.

И все-таки я не согласен с Кузнецовым и вовсе не уверен, что о нас тоже со временем сложат легенды и песни. То были особенные люди, и в этом надо отдать им должное. Хорошо бы хоть немного походить на них.

III

Я, Александр Горобец, — часовой границы. Мне поручен участок, который я обязан тщательно и бдительно охранять. Сзади идет старший наряда, опытный пограничник, солдат второго года службы Павел Дубровский. Мы не приближаемся друг к другу и не переговариваемся на расстоянии. Нам нельзя ни на минуту отвлекаться — так требует служба, таковы условия границы. Мы размеренно идем по участку, внимательно осматривая контрольно-следовую полосу, чутко вслушиваясь в тишину. Вперед — назад, вперед — назад... В глазах рябит, в ушах звенит... Вперед — назад... А что сейчас дома?

Мама, скорее всего, убирает со стола, моет после ужина посуду, отец курит, читает газету, комментируя, как всегда, события вслух... Рая, наверное, пошла с подругами в кино... Хорошо, если с подругами... А с кем еще, какие у меня основания не верить ей? Пусть даже с парнем — не сидеть же взаперти два года. Верить надо друг другу, иначе жизни не будет...

Рая... Как это все началось? Пришел я после летних каникул в школу, смотрю — впереди новенькая сидит. Обычная девчонка, ничем не приметная. Только коса огромная, светлая-светлая и очень толстая. Слушает учителя и косу перебирает: расплетает, заплетает — привычка такая. Потом перекинет через плечо, и — бац! — коса на моей парте. Передвигается, как живая, вроде бы дразнит, покоя не дает. Вместо того чтобы урок слушать, я на косу смотрю... Обозлился на себя, на девчонку, взял осторожно кончик и аккуратно обмакнул в чернила. Учитель тут же меня засек. Покачал головой, с сожалением заметил:

— Седьмой класс, Горобец, а ум, как у младенца. Ну иди, погуляй.

Тут только новенькая догадалась. Перекинула косу, испачкалась, вспыхнула, выхватила из портфеля ножницы — всегда, что ли, с собой носит? — и отхватила кончик косы. Я даже рот раскрыл — неужели не жалко?

— Иди, милый, иди, — повторил учитель. — Подумай в коридоре. Поймешь — придешь, извинишься.

Извиняться, конечно, не стал — этого еще не хватало. А девчонку не мог забыть — ее растерянное и в то же время гневное лицо, возмущенный взгляд...

Сколько раз пытался после этого заговорить с ней! Ни в какую, не смотрит на меня. Подойду — спиной поворачивается. Зайду с другой стороны — опять спина. Только коса летает из стороны в сторону, будто напоминает, дразнит.

Долго бился, пока наконец посмотрела на меня. Я, конечно, извинился, пролепетал что-то. Она насмешливо прищурилась, потом вдруг улыбнулась...

...ТЬфу ты, дьявол! Это вместо границы, а! Попадет мне от Дубровского, если догадается, где сейчас мои мысли, — у них особое чутье, у старослужащих, все они видят и понимают. Ну и пусть! Это ведь легко сказать — ни о чем постороннем не думай. А как добиться? Приказом не заставишь, инструкцией — тоже... Случай, ко-

торый не укладывается ни в какие рамки, ничем не проверяется.

Нас многому учат. Не только пограничной службе, но и разным общевоинскими тонкостям. Дня не проходит, чтобы, помимо занятий в классе, не было огневой или тактической подготовки, кросса или тревоги, спортивного часа или рукопашного боя. А как же иначе — сегодня мы на границе, а завтра можем оказаться совсем в других родах войск — разве не было такого в Великую Отечественную войну и разве не прошли пограничники всю Европу в одних рядах с пехотой?..

В первые дни службы всем нам, молодым, казалось, что если не сейчас, не сию минуту, то завтра или послезавтра непременно свалимся от усталости и перегрузок — разве человек в состоянии столько вынести? Старослужащие прятали улыбки, ободряли:

— Ничего, ребята, еще как втянетесь! Вспоминать будете и смеяться.

Мы теперь многому научились — за несколько месяцев службы. Вслепую разбираем и собираем личное оружие; шутя пробегаем в одежде и сапогах кроссовые километры; метко стреляем по любым мишеням не только днем, но и ночью; в считанные минуты выстраиваемся по тревоге; четко и быстро надеваем противогазы и защитные костюмы...

А вот кто и как научит о постороннем не думать?

IV

На соседней заставе — редчайшее, небывалое в пограничных войсках чрезвычайное происшествие — самовольная отлучка. Правда, всего лишь один час, но самоволка — никуда не денешься! Как это могло случиться?!

...Разговор происходит в вечерний час, который именуется личным временем. В иные минуты и поговорить некогда — один на службе, другой спит, третий на хозяйственных работах или на занятиях. Сейчас тоже далеко не все в сборе — да и не можем собраться вместе: границу ни на минуту не оставишь. Но для тех, кто вечером не на дозорной тропе, этот час полностью свободен — распоряжайся им, как хочешь. Многие пишут письма, кое-кто читает. В одной из комнат ребята с мечтательными лицами слушают песню Димы Попова.

О чем песня, никто не знает, даже не первый раз аккомпанирующий на баяне Вася Антонов — поет Дима помолдавски. Но по всему чувствуется — хорошая песня...

Никто из нас не оправдывает солдата соседней заставы — просто пытаемся понять его. Неделя нет письма от девушки, другую... Село рядом, а сходить некогда — и ничего не удастся узнать. Не вытерпел парень, побежал в село.

— Дурак! — коротко бросает Никонов.

— Ненормальный, — смягчает Кузнецов.

— Не так все просто, — размышляет Уткин. — Любось!

— Они виноваты, — неопределенно говорит Зайцев и уточняет: — Девчата.

— Точно, Витя, — подтверждает Янушкевич. — Не надо до службы амурничать.

Уткин молчит, опустив голову и пряча глаза от Янушкевича: ему амурсы тоже боком вышли — писала, писала школьная подруга и вдруг неожиданно перестала. Ни ответа, ни объяснения. Прав Янушкевич: пока не отслужил — не настраивайся на серьезные чувства, держи себя в руках.

Уткин смотрит на товарищей и убежденно говорит:

— Нет, ребята, не должен был он так поступать, и ничто его не оправдывает. Товарищей подвел, прежде всего офицеров. Они за нас душу отдают, ни днем ни ночью не знают покоя. Никудышным надо быть человеком, чтобы так поступить. И главное — делу ущерб: нам ведь граница доверена.

— Ну, Сашуня, ну, тихоня, какие же ты точные слова сказал, — сгреб Янушкевич Уткина в объятия.

Молодец Уткин! С ходу попал в «яблочко»...

Командир — это не только твой начальник, суровый и требовательный. И не только человек, который учит стрелять, распознавать следы, охранять границу — одним словом, нести нелегкую службу. Он — прежде всего старший товарищ, самый близкий человек, с которым предстоит провести два долгих года.

Не случайно в первый же день обрадовался я прапорщику — не только как знакомому, но и как человеку, который за мое короткое школьное пребывание на заставе проявил к нам заботливость, доброту, внимание...

Однажды в ночное дежурство на заставе я услышал, как прапорщик рассказывал приезжему майору — из

отряда или округа,—как впервые пришел на эту заставу:

— На прежнем месте полный порядок, своими руками наладил хозяйство. А тут — ничего. И молва не очень добрая — плохо говорят о заставе. Ну кому охота оставлять обкатанную машину и впрягаться в застрявший воз? Но надо — что тут скажешь. Да-а... Приехал, значит, на заставу, прошел, посмотрел... Все вроде бы есть — и в то же время... Как бы лучше объяснить?... Два солдата несут службу, оба делают все положенное, но один в охотку, с живинкой, а второй по обязанности — и хвалить не за что и поругать нельзя. Так и здесь — все какое-то запущенное, равнодушное. Даже коровы и те жуют по обязанности. С чего начать, за что ухватиться — ума не приложу. В аккурат суббота, банный день. Солдаты еле плетутся, назад выскакивают — как пули из автомата. Что за наваждение, где это видано, чтобы солдат не любил баню? Зашел я, посмотрел: темно, холодно, грязно — не баня, наказание! На следующий день начали перестраивать баню. Теперь уже никого не выгонишь. А после хорошей парной и дышать легче и служить веселее.

Он улыбается, и все его лицо покрывается сетью добрых морщинок — ну совсем как у моего отца, когда тот чем-нибудь доволен.

Я не знаю, когда наш прапорщик отдыхает. То он на кухне, то в складах, то в коровнике, то на огороде, то в котельной или в лесу... А то вдруг кормит из рук олененка Малыша, что-то выговаривая ему, — наверное, за зеленые мишени, которые Малыш принимает по цвету за траву и с аппетитом съедает, не думая о том, что Петру Фомичу придется за них отчитываться.

Уборка территории, посадка деревьев, ремонт помещения — обо всем должен подумать Фомич, все предусмотреть. В то же время прапорщик — боевой командир и вместе с офицерами отправляет на границу наряды, проверяет службу, проводит занятия с солдатами.

Вот и хотел бы я знать: у кого из солдат хватит совести небрежно отнестись к порученному делу, не выполнить задание, подремать на солнышке, если перед глазами хлопотливый и беспокойный, не знающий отдыха, не ведающий сна прапорщик?

Когда они вообще спят, наши командиры? Квартирры рядом — в десяти метрах, но иногда сутками не видят

детей и жен. А что поделаешь, если у капитана помимо своего двенадцатилетнего сына, а у старшего лейтенанта кроме трехлетней Лариски немало великовозрастных детишек, которые ждут такого же внимания, такой же заботы?!

С виду они очень разные, наши офицеры. Крепкий, налитой, неторопливый капитан — и высокий, стремительный старший лейтенант. Громкий, шумный начальник заставы — и сдержанный, улыбчивый заместитель.

Когда капитан уходит в отпуск, мы облегченно вздыхаем. А дней через пятнадцать начинаем говорить о нем и вроде бы даже скучать. Чего-то не хватает. Строгого разнаса, за которым тут же последуют мягкие слова, или привычного командирского голоса, в котором наряду с требовательностью чувствуется забота.

И капитан и старлей сами были в разные годы солдатами. Потому, верно, и понимают нас. Старший лейтенант, а тогда еще солдат, перед увольнением поступил в пограничное училище, окончил его, вернулся на границу офицером. А наш начальник, говоря по-старому, сменил не один котелок: почти четыре года срочной, несколько лет сверхсрочной, училище экстерном. Подумать только, экстерном! Когда, за счет какого времени? Ночами, когда через каждые несколько часов надо отправлять на границу наряды и ставить каждому боевой приказ, а между отправкой — отвечать на телефонные звонки, выезжать с тревожной группой и проверять систему, которая сработала? Днем, когда на тебе обширное хозяйство? Не знаю, не знаю...

Шли мы как-то с капитаном по дозорной тропе. Вдруг он остановился у бревенчатого настила, перекинутого через ручеек, долго ковырял сапогом подгнившие бревна, бормотал, по-моему, даже ругался. Потом вдруг спросил:

- Надоело ворочать мокрые бревна?
- Чего хорошего, товарищ капитан.
- Надоело, надоело... А как без них?
- Не знаю, товарищ капитан.
- Не знаешь, не знаешь...

Я смекнул, что разговаривает он не со мной, а сам с собой — думает вслух и ответов моих не слышит. Да и на что ему мои ответы? Сам хорошо знает, как замучили нас бревна — чуть полежат и — готово! — меняй настил. Но что тут придумаешь? Не мы первые, не мы последние.

Несколько дней он ходил задумчивый и даже непри-
вычно тихий — во всяком случае, его громкий голос не
был слышен на заставе. Потом куда-то уехал. Вернулся
злой, раздраженный. Из канцелярии доносилось:

— Я говорю — добро гибнет, первосортный строевой
лес. За этот лес любой завод с радостью даст бетонные
трубы. Заводу польза, и нам хорошо: один раз уложим—
и дело с концом. Так нет же, не твоя, говорят, забота.
А чья же? Не буду ни у кого спрашивать — сделаю.

— Набьют нам одно место,— сказал старший лейте-
нант.

— Я, Виктор Николаевич, этим местом никогда не
дорожил.

— Ругать будут, это точно,— заметил прапорщик.—
Но попробовать надо...

Неделю, если не больше, шоферы возили куда-то
лес, возвращались с железобетонными трубами. Потом
мы их укладывали в ручьи... Порядком наломались. Но
вот уже сколько времени — и никаких забот, текут ру-
чейки по трубам. Не знаю, как те, с кем спорил наш ка-
питан, согласились ли они в конце концов. Но если на-
до — пусть спросят нас, солдат, мы им скажем, насколь-
ко легче стало жить и служить без этих бревен...

V

С трудом шагая в тяжелых от налипшей грязи сапо-
гах, возвращался на заставу Гаевой. Он очень устал,
только что призванный в погранвойска солдат Гаевой,—
от команд, построений, многочисленных обязанностей,
собственной нерасторопности. А тут еще, как нарочно,
которые сутки дождь льет, дороги и тропы превратились
в кисель — ноги не вытащишь. Скорее бы добраться до
кровати...

Кое-как очистив сапоги, Гаевой поднялся на крыльцо.

— Ботфорты помой!

Гаевой непонимающе остановился.

— Ботфорты, говорю, сапоги,— уточнил Янушке-
вич.— Куда ты с такими ногами? Сам же потом будешь
полы драить. Уважайте, граждане, труд уборщиц.

Гаевой стал очищать сапоги о ступени крыльца.

— Что ты делаешь! — закричал Янушкевич и, увидев
приближающегося начальника заставы, скомандовал: —
Вниз! Быстро!

Вконец растерявшийся Гаевой топтался на месте.

Уткин взял парня за руку, подвел к крану.

— Не стой у кобылы сзади, а у начальства спереди. Сапоги мыть умеешь?

— Умею,— выдал Гаевой.

— Молодец. Вот тряпочка, вода. Вымой так, чтобы блестели. А потом отдохнешь.

Гаевой кивнул — он понял наконец, что от него требуется.

Мы теперь старослужащие, без всякой натяжки и скидки: на заставу пришло пополнение.

Когда, в какой день стали мы опытными пограничниками, как это произошло? Скорее всего, исподволь, незаметно — пока количество знаний не перешло в качество. Впрочем, мы бы еще долго не считали себя опытными, не появившись новички — не с кем было сравнивать. И только на их фоне видно, какими мы стали. А ведь были такими же медлительными, вялыми, несобранными, потерянными...

Никогда не забуду, как налетел на меня ефрейтор Марченко:

— Ты чего здесь толчешься?

— А чего?

— Эт-то еще что за ответ? — повысил голос сержант. — Чем занимаетесь, товарищ Горобец?

— Ничем.

— Такого на заставе быть не может.

Он тут же нашел мне работу, которой у нас всегда нехватало.

Теперь я и сам не понимаю, как мог оказаться тогда без задания. Случись такое сейчас — тут же напомнил бы о себе: как это вдруг — все работают, а я без дела?

Впрочем, сейчас этого не может случиться — с нас теперь особый спрос, как со старослужащих. И нагрузка больше.

На днях я стал ночным поваром — это помимо основной службы и библиотеки. Старший лейтенант сказал:

— Ничего, земля. Главное — не расстраиваться.

Земля, земляк — так он называет всех. А что, мы и в самом деле все до единого земляки — дети одной страны.

Два наших повара едва справляются: неделю каждый из них варит, неделю на службе. А спать тоже надо — за этим у нас следят строго — восемь часов, ни минуты

меньше. Недоспал ночью — будешь отдыхать днем: в спальнях комнатах тишина, окна зашторены, дежурный поднимает на службу шепотом, чтобы не потревожить соседа.

Теперь я буду через ночь подменять очередного повара, утром отсыпаться, днем нести службу, вечером в библиотеку... Надо! Кому-то же надо. Беда только, что варить не умею. Домашние опыты, когда мама задерживалась на работе, не в счет. Ну что ж, научат.

Я теперь нередко повторяю эту крылатую фразу молодым: не умеешь — научим! И когда вижу в ответ робко-почтительные и недоверчивые взгляды, стараюсь ободрить, успокоить, вселить уверенность. Всему научим: постель заправлять и следы читать, полы мыть и границу охранять, лес рубить и обнаруженные следы знаком обозначать, коровник чистить и не думать о постороннем на дозорной тропе... И главному научим — крепко любить пограничную службу.

Спросите сейчас любого старослужащего, что ему больше по душе — работа на заставе, занятия или пограничный наряд в самую злую погоду — и он не задумываясь выберет наряд. Потому что там — ответственность, самостоятельность, полная инициатива.

И как совсем недавно «старички» нас, так и мы сейчас учим молодых — настойчиво, терпеливо, мягко, сурово, требовательно.

Все придет со временем к молодым — и опыт, и умение, и чувство товарищества, дружбы, единой семьи, когда смешно и стыдно что-нибудь прятать и все, что приходит из дома, тут же выкладываешь на общий стол, получая от этого куда больше радости и удовольствия, чем поедая по углам один, втихую. Сохранить бы эти удивительные качества на всю дальнейшую жизнь, когда служба останется далеко позади, а каждый из нас обзаведется семьей, квартирой, мебелью, седыми волосами и бесконечными повседневными заботами. Хорошо бы остаться такими же отзывчивыми, широкими, готовыми отдать соседу или товарищу, если понадобится, последнюю рубашку.

Всеми этими благородными чертами обладал Федор Васильевич Морин. Узнали мы об этом от его друзей по довоенной заставе — Владимира Андреевича и Любови Степановны Масиковых.

Нет, о подвиге Морина Владимир Андреевич Масиков и его жена знают понаслышке, по книгам — воин-

ский приказ развел их незадолго до войны по разным заставам. А вот каким был Морин в повседневной жизни, в мирной обстановке — это Масиковы хорошо помнят. И рассказывают они, перебивая друг друга: он — о службе, она — о бытовых деталях.

— Я приехал в девяносто первый пограничный отряд после окончания Саратовского погранучилища в октябре тридцать девятого года и был направлен на заставу, — вспоминает Владимир Андреевич. — Через несколько месяцев из Орджоникидзевского училища приехал на эту же заставу Морин. Оба мы были на должности помощников начальника заставы.

— Нам дали две большие комнаты, — рассказывает Любовь Степановна, — а Морин один, холостяк. Подумали мы с мужем и решили отдать ему комнату. Так и жили одной семьей.

— Любил он границу, — с грустью, словно и о своем чувстве, говорит Владимир Андреевич, — дома не мог усидеть. Или предчувствие войны было? Все мы тогда чувствовали беспокойную обстановку, но старались меньше об этом говорить — только ловили нарушителей. Бойцы любили Морина: за мастерство — он блестяще стрелял из всех видов оружия, за энергию и за то, что все трудности делил с ними.

— Дочке нашей, Лидочке, — вспоминает Любовь Степановна, — шесть годиков тогда было. Дядю Федю любила больше папы с мамой, даже обидно было. И он в ней души не чаял: как свободная минута — с Лидочкой играет, разговаривает, к самому потолку подбрасывает. Федя хохочет — и Лидочка заливается.

— Сколько раз, — опять вступает в разговор Владимир Андреевич, — я ему предлагал отдохнуть, побыть дома. Ни в какую. «Что мне дома делать? У меня семьи нет. Я уж лучше с бойцами». Я ему доказываю, что мы оба заместители и каждый должен работать и отдыхать. Считаю, говорит, меня своим заместителем. Я крепкий, а тебе не грех побыть с семьей.

— Петь любил под гармонь, — продолжает рассказ Любовь Степановна. — И хорошо пел. Редко, правда, приходилось его слушать — время вон какое напряженное. Но иногда Федя проводил вечера дома. Накупит всего-всего, выложит на стол, попросит: «Сообрази нам что-нибудь, Люба, а мы пока с Андреичем потолкуем». Но разве Лидочка даст ему поговорить. Лезет на колени,

обнимает, что-то рассказывает... И смотришь, Федя уже с ней.

— Пришел как-то расстроенный,— на лице Владимира Андреевича словно бы та давняя тревога отражается,— происшествие случилось. У нас тогда пограничники не считались со временем, на границу сами просились. Особенно на левый фланг — там больше нарушений. И в тот вечер были нарушители — пытались перейти на нашу сторону. Боец в дозоре был хороший — не помню, жаль, его фамилии. Прижал огнем, они назад, к себе. А он, боец этот, видимо, в горячке выстрелил на ту сторону. Скандал, конфликт. Бойцу для начала пять суток гауптвахты. Вот и расстроился Морин. Поехал в отряд, говорил, доказывал и отстоял своего бойца.

— Однажды,— улыбается Любовь Степановна,— Федя решил проверить, какая я наездница, а то, говорит, все хвалишься и хвалишься. Ездила я хорошо, он знал это, но, видимо, решил подшутить. Зима тогда была удивительная — снежная, солнечная, тихая. Дали мне полушубок, шапку, валенки, села на коня, и поехали мы на речку. Едем спокойно. Вдруг Федя ка-ак гикнет. Лошадь моя на дыбы — и понеслась. А я оказалась в сугробе. Федя хохочет — сил нет. Ну что, спрашивает, будешь теперь хвалиться?

— Вскоре нас разлучили,— и опять на лице Владимира Андреевича мелькнуло сожаление,— перевели начальниками застав. Не так, правда, далеко друг от друга, но уже не свидишься, не поговоришь. А потом война. И долго ничего я не слышал о Морине. Нелегко нам с Любой пришлось. Хорошо, хоть дочку удалось отправить. Люба вернулась в отряд, Боевое Знамя выносила. Потом вместе отступали с боями, вместе фашистов гнали. Я офицером-пограничником, Люба — старшим сержантом. Но это уже другая история. А о Морине мы узнали много лет спустя, когда он посмертно стал Героем. Настоящим человеком был Федор Морин!

VI

На заставе вышел очередной номер стенной газеты под девизом «Каждому комсомольцу — активную жизненную позицию». Девиз, конечно, хороший. Но зачем же ругать молодых? Читаю — и глазам не верю: описан

случай, когда Гаевой не помыл сапоги. Ну, знаете, от грязных сапог до жизненной позиции, как от Земли до Луны. Правда, базу подвести можно — дескать, все начинается с малого — и, наверное, правильную базу. Но Гаевого учить надо, а не публично критиковать — обидеть можно, ожесточить. А замкнувшийся в себе, настоженный, никому не доверяющий пограничник — считайте, боеспособный лишь наполовину. Конечно, у молодых недостатков — хоть пруд пруди, и все на виду. На днях вцепились двое в одну швабру и чуть не дерутся — каждый хочет быстрее и лучше выполнить приказание. Подошел сержант Федоров, посмотрел на раскрасневшихся ребят, молча принес вторую швабру. И об этом писать в стенной газете? Разве нет у редколлегии других фактов — более серьезных, весомых? Не обходит ли наша уважаемая печать «старичков», хотя нас порой и надо критиковать и высмеивать? Да что далеко ходить за фактами: не так давно раздался сигнал тревоги, как всегда неожиданный, срывающий с места, заставляющий скатываться по лестницам. Через несколько минут застава выстроилась во дворе. Капитан щелкнул секундомером, обошел строй, внимательно проверил оружие, снаряжение, боеприпасы.

— Сорок секунд лишних, — сказал он. — Как вы думаете, нормально? — Тяжело посмотрев на нас, старослужащих, продолжал: — С молодых другой пока спрос. Больше скажу — сорок секунд для первых месяцев службы не так уж и плохо, будем добиваться нормы. А с вами разговор особый. Для вас сорок секунд — стыд и позор. Р-ра-зойдис-сь! — неожиданно скомандовал и ушел, не оглядываясь.

Мы не смели взглянуть в глаза друг другу, нам стыдно было перед молодыми. Бывалые солдаты, опытные пограничники... Зима, что ли, так подействовала? Близость «дембеля»? Или почили на лаврах и решили, что нам, старичкам, все дозволено? Но солдат — до последней секунды солдат, до той поры, пока окончательно не распрощался с заставой. Стыд и позор! Правильно сказал капитан.

Мы наверстали упущенное, собирались молниеносно и выстраивались пулей, положенное время перекрыли. Теперь с нами можно было спокойно выходить на любую строгую проверку. Но позорный факт был, и от него никуда не денешься.

Вот о чем надо писать в стенной газете, а не о грязных сапогах молодого Гаевого.

Кузнецов согласился:

— Знаешь, я тоже был против, но не сумел доказать.

— Какой же ты тогда редактор? — возмутился Янушкевич.

— Я, между прочим, не командир, — уточнил Кузнецов. — И действую не в приказном порядке. У нас орган коллективный.

— Объясни молодым, которых вы раскритиковали, — заметил Падучин. — Им, кстати, от этого не легче.

— Поговорите с Чалым, — взмолился Кузнецов.

— Обязательно поговорим. Но ты учти в дальнейшем: свою правоту надо отстаивать.

Секретарь комсомольской организации Александр Чалый стоял на своем: газета не должна обходить недостатки.

— Да кто просит обходить? — удивился Янушкевич. — Но надо сначала думать, потом критиковать.

— С оглядкой? — усмехнулся Чалый.

— С оглядкой бывает только в адрес начальства, — уточнил Володя Крылов, один из самых авторитетных ребят, начальник прожекторного поста, лучший спортсмен на заставе.

Чалый молчал. По всему чувствовалось: комсомольский секретарь понимает ошибку редколлегии. Да что мы, не знаем Чалого? Сами его выбирали, стоящий парень, коммунист. Политотдел отряда недавно выпустил о нем листовку. В ней рассказывается о том, как в коллективе, где служат воины восьми национальностей, утвердился закон армейской службы: «Один за всех, все — за одного». И подчеркивается: «Исключительно большая заслуга в этом секретаря. Личный пример во всем и всегда для него — закон жизни. Александр постоянно расширяет свой политический кругозор, повышает военные знания. Комсомольский вожак — мастер пограничной службы, награжден знаками «Отличник погранвойск» II степени, «Отличник Советской Армии».

— Вместо Гаевого надо было пробрать Любимова, — сказал Янушкевич. — Пытался отказаться мыть полы, дескать, он старослужащий. Правда, тут же спохватился, признал свою неправоту.

— Видишь, — обрадовался Чалый. — Все-таки помыл.

— Еще бы! Мы в армии, не на сельском сходе. А вот то, что старослужащий позволил поспорить,— это уже беда, это тебе не сапоги Гаевого. Да и мало ли других тем? Написали бы про последнюю тревогу, когда мы все опозорились.

Чалый поднял руки:

— Сдаюсь, убедили. Надо поговорить с молодыми, чтобы в самом деле не обиделись. Кому поручим?

— Тебе, кому же еще.

— Давайте вместе,— решил Чалый.— Так будет лучше.

VII

Беспокойная выдалась ночь... Только легли — тревога! В считанные минуты оделись, вооружились и на машине туда, откуда прозвучал сигнал, где по каким-то причинам сработала сигнальная система.

Сигнал с границы — это еще не обязательно нарушитель. Но даже если это и животные, тревожная группа должна немедленно выехать на место, тщательно обследовать его, изучить следы — мало ли было случаев, когда нарушитель пытался проникнуть на нашу территорию, маскируя свои следы копытами.

На контрольно-следовой полосе обнаружили следы кабана. Здоровый зверюга. Но пройти не сумел, повернул назад.

Зверью что — границ не знает, предупредительные надписи не читает, в обстановке не разбирается — прет напролом. Хоть бы аккуратно, как наш кот Васька: шмыгает он взад-вперед, ест у нас, а любовь завел за границей. Правда, проскочить бесшумно даже ему, бывалому нарушителю, не удастся. Но с ним забот меньше: проверил следы, обозначил.

Не успели задремать — опять тревога. Звонят железнодорожники — в вагоне с зерном обнаружен неизвестный.

С жителями пограничной зоны у нас дружба по всем статьям. Им не надо рассказывать и разъяснять, что такое граница: каждый понимает. И никто не пройдет спокойно мимо нового, неизвестного, тем более чем-то подозрительного человека,— непременно сообщит на заставу. Наши глаза и уши — так можно с полным основанием сказать о каждом жителе пограничной зоны.

Отряды дружинников — наша вторая крепкая, надежная линия. Каждый вечер до глубокой ночи несут они службу в селах. Одни контролируют поезда, выставляют в воскресные дни наряды у шлагбаумов на въездах в пограничную зону; другие держат под наблюдением рейсовые автобусы или патрулируют дорогу в сторону границы; третьи проводят рейды по улицам...

Наши дружины действуют настолько четко, что именно здесь, в этом районе и на нашей заставе, собрались в конце прошлого года секретари райкомов и горкомов партии пограничных зон Белоруссии, Украины и Молдавии, чтобы обменяться опытом и перенять все передовое в работе ДНД. Не скажу, что нам, солдатам, было в эти дни просто и легко — каждому досталось за троих: мы выступали в роли бойцов, хозяев, экскурсоводов; принимали гостей, знакомили их с разнообразной боевой техникой погранвойск, с историей отряда и заставы, проводили учебные тревоги и демонстрировали совместные действия пограничников и дружинников при самых разных и неожиданных нарушениях границы. И как же приятно было услышать добрые слова о заставе и особенно о наших дружинниках.

Я помню не один случай, когда именно дружинники помогли задержать нарушителя. Бульдозерист Михаил Шумило увидел пробирающегося к границе неизвестного и тут же поднял тревогу. Дежурная по железнодорожной станции Надежда Крылова долго и подробно разговаривала с подозрительным человеком, пока не прибыли вызванные ею пограничники. Она рисковала: глухая ночь, безлюдная маленькая станция и здоровенный мужик, который каждую минуту может догадаться об истинном намерении собеседницы. Еще больше рисковал колхозный бригадир Николай Гелета, когда увидел на самой границе озирающегося человека... Звонить на заставу не было времени. Николай бросился на неизвестного, подумав, что часовой на вышке непременно обратит внимание. Кто знает, чем бы кончилась борьба и сумел бы Гелета одолеть противника, но пограничники подоспели вовремя...

Когда мы встречаемся на заставе или в селах с дружинниками и видим на груди у многих почетный знак «Отличник погранвойск»: у Федора Васильевича Нестера, начальника автотранспортной конторы, у Георгия Николаевича Урсуляка, начальника шпалопропиточного заво-

да, у Николая Гелеты, колхозного бригадира, и многих других,— то мы испытываем чувство благодарности к нашим помощникам. И еще лучше понимаем глубокий смысл слов: границу охраняет весь советский народ.

Председатель колхоза Петр Петрович Гришко живет и работает в пограничной зоне больше тридцати лет. Это он предложил назвать именем Федора Морина улицу в колхозном селе и школу-интернат. Может быть, потому, что подвиг Морина и других пограничников близок ему.

Помню, выступал Гришко на заставе перед молодыми солдатами с рассказом о крае, в котором мы служим, и кто-то спросил его, как вдруг он, военный летчик, стал председателем колхоза?..

Коротко, почти анкетно Гришко сообщил о себе. Летал, воевал, отслужил, приехал в село, начал учительствовать и заодно окончил учительский институт. А потом пришла пора, когда его, коммуниста, попросили возглавить колхоз. Согласился, хотя и страшно было — нелегкое это дело руководить хозяйством, многими людьми. Пришлось опять учиться: заочно — в сельскохозяйственном институте.

Петра Петровича и его колхоз знает каждый солдат не только нашей заставы, но и двух соседних. И не потому лишь, что часть колхозных земель находится в пограничной зоне. Мы знаем Гришко, секретаря колхозной партийной организации Анатолия Павловича Литвиненко, членов правления, бригадиров, многих колхозников как лучших друзей пограничников. Куда ни посмотри, чего ни коснись — всюду и во всем видна их заинтересованная забота. Цветной телевизор подарен нам колхозом. Дорожки на полу, шторы на окнах — колхозные. Какая-то особая, эмульсионная краска на стенах — тоже из колхоза. Первые свежие овощи и зимние запасы, которые исчисляются многими тоннами,— все это колхозное. Ни разу, насколько я знаю, нам ничего не пришлось просить. Частый гость заставы, Гришко вдруг заметит то, к чему мы уже привыкли, на что не обращаем внимания, и в разговоре между прочим скажет:

— Выгорели шторы, пора менять.

И когда он успевает о нас думать при своем немалом хозяйстве — почти шесть тысяч гектаров пахотных земель, пять тысяч гектаров угодий, шестнадцать тысяч центнеров мяса в год государству!

Мы тоже всегда помним о колхозе. И если на заставе какое-то радостное событие или, тем более, большой праздник, первые и самые дорогие гости — колхозники. А колхозная дружина не случайно лучшая в районе — тут уж мы стараемся вовсю.

Да, звонки на заставу — не редкость, жители пограничной зоны всегда настороже.

Однажды по сигналу местных жителей мы задержали парнишку лет шестнадцати. Документов при нем не оказалось. Ни на какие вопросы отвечать не хотел, твердил одно:

— Не имеете права.

Свои права и обязанности мы знаем хорошо, ничего лишнего никогда не позволим. Спросить документ не только имеем право, но и обязаны. И если человек почему-либо вызывает подозрение, должны его задержать. Так и поступили. Только потом, много месяцев спустя, вспомнил начальник заставы об этом случае и сообщил, что парень в поисках приключений бежал из дома и что родители от души благодарны за возвращение сына.

Скорее всего, это функции милиции. Но кто может вблизи границы точно определить, что должна делать милиция, а чем должны заниматься пограничники. Казалось бы, какое нам дело до скандала в селе, драки или пьяного дебоша — пусть этим занимается милиция. Но кто поручится, что дебош и драка не затеяны со специальной целью — для отвлечения внимания и нарушения границы? И пока в селе неспокойно, застава усиливает наряды, перекрывает границу.

Вот что такое вроде бы обыкновенный гражданский звонок...

На железнодорожной станции мы застали взволнованных рабочих, вооруженных молотками и гаечными ключами. Незнакомый не показывался. Тащить его из вагона никто не решился — да и не надо этого делать гражданским лицам.

Мы окружили вагон, перекрыли возможные пути отхода. Старший лейтенант предложил неизвестному вылезть. Наступила напряженная тишина. Сколько она длилась — трудно сказать, скорее всего минуты, но кажется, что гораздо дольше.

Показался неизвестный — с лицом, обросшим щетиной, в помятой одежде. Мы повели его на заставу.

Будь я первогодком, начинающим пограничником, непременно бы расписал этот случай Рае, да еще со многими придуманными подробностями.

Но зачем врать? Жизнь наша сама по себе интересна и не нуждается ни в каком приукрашивании. Конечно, каждому хочется выглядеть бывалым пограничником — умело отслеживающим, без усталости преследующим и ловко задерживающим нарушителя; эдаким бесстрашным молодцом с верным другом — овчаркой у ног, крепко сжимающим автомат и пронзающим даль опытным глазом — именно таким, каким зачастую представляют себе пограничника гражданские люди, особенно мальчишки. Мне, что ли, этого не хотелось, когда я был дома в краткосрочном отпуске, выступал в своей школе и видел — не мог не видеть — восторженные взгляды ребятишек. Так и подмывало рассказать несколько пограничных историй. Но что-то вовремя остановило. Может быть, воспоминание о том, как я сам мечтал о границе, форме, собаке и как прозаически нелегко потом приходилось каждый день оправдывать форму, зеленые погоны, звание пограничника. Зачем же замазывать трудности, устилать дорогу мягкой соломой и даже почетными коврами дорожками, если все это совсем не так? Правду, только правду! И если после этого мальчишка не расстанется со своей мечтой, значит, будет настоящим пограничником.

...Часто вспоминается мне отпуск на родину. Ночи напролет мы бродили с Раей по зеленым уютным улицам города и говорили не переставая. О чем? Разве это существенно... Нам важно было слышать друг друга, видеть, чувствовать тепло рук. Я искал в этой стройной, уверенной, независимой, сознающей свою красоту и обаяние девушке черты прежней милой Раи; искренно радовался, когда за взрослостью угадывал знакомое детство; боялся ее, нынешнюю, и в то же время тянулся к ней; настороженно пугался и одновременно любовался. Чувствовала ли она, что происходит во мне и вообще с нами, понимала ли, что, расставшись детьми, мы встретились взрослыми и смотрим друг на друга совсем иными глазами?

Рая без конца примеряла зеленую фуражку — она была ей к лицу, — гладила зеленые погоны и почему-то старалась вытащить меня на людные освещенные улицы — будто нам хуже в полумраке, на уединенной ска-

меечке под густым деревом. Знакомых у нее появилось... ну чуть ли не весь город. Здоровались, останавливались, подолгу говорили и, по-моему, слишком заинтересованно смотрели. Не Рая, а какая-то знаменитость, кинозвезда. Обижаться я не мог — меня она ни на минуту не забывала. Наоборот, каждому с гордостью говорила: — А это мой пограничник!

От частого употребления слово «мой» поблекло и утратило радостную остроту. И без конца повторяемое «пограничник» тоже надоело. Хотелось, чтобы, как в давнее время, представляла меня знакомым просто по имени — Саша. Да и ее знакомые, признаться, порядком раздражали — не для того ехал в отпуск, чтобы на ходу пожимать чужие руки и делать вид, будто запоминаю совершенно ненужные мне имена. Неужели этим многочисленным друзьям и знакомым недостает разума, чтобы понять очевидное: в кои-то веки приехал солдат к своей девушке — так надо ли ему мешать и красть у него драгоценное время? На заставу бы их всех — сразу бы поуменьли. Когда солдат читает письмо, никто не станет мешать и отвлекать. Да что письмо! Ни один не зайдет в столовую, не пожелав приятного аппетита товарищам, и никто не уйдет, не поблагодарив повара.

Я ничего не сказал Рае, сдержался. Хотя где-то в душе копошилось сомнение: кому она больше рада — мне или моей форме; кем она гордится — Сашей Горбцом или солдатом-пограничником? И удивляло, что мало она интересуется моей пограничной жизнью, а если и спрашивает, то о каких-то несущественных мелочах.

Полным ее триумфом был вечер в городском саду. К нам подошел военный патруль. Пугаться мне было нечего — документы при себе, форма в порядке, все в ажуре. А Рая со страхом смотрела на офицера и солдат с красными повязками. Она боялась за меня! И я почувствовал, как она дорога мне, как горячо люблю ее. К черту назойливых и бесцеремонных знакомых, прочь все сомнения! «Мой пограничник»? Очень хорошо! Значит, гордится, радуется и не скрывает своей гордости.

Я козырнул офицеру. Он неожиданно пожал мою руку и спросил:

— Давно с границы? Как там?

Офицер подсел к нам с Раей, солдаты встали рядом — они ждали рассказа. Что я им должен сказать —

служба как служба. Может быть, прочитать в ответ стихи нашего Толи Ширкевича:

Стремительно мелочи быта сменяя,
ночное прервав забытие,
в сознание входит команда простая:
«Застава, в ружье!».
Короткий доклад прорывается скупом
сквозь ветра порыв ледяной:
— Товарищ начальник,
тревожная группа...
И властно: — В машину!
За мной!

У него много стихов, у Толи Ширкевича. Мы их переписали в блокноты, помним наизусть. О Морине, службе, пограничном знаке, даже о любви...

— Какой ты неразговорчивый,— с досадой сказала Рая и притопнула ногой.

От прежнего страха не осталось и следа. Рая распрямилась, расцвела, гордо посматривала по сторонам, будто выискивая многочисленных знакомых, чтобы продемонстрировать меня, запросто и на равных разговаривающего с военным патрулем. Что в этом необычного — я так и не понял. Другое дошло в ту минуту: испуганная, робко прижимающаяся ко мне Рая куда милей этой горделивой, почти незнакомой девушки.

Через два дня я уезжал. Рая плакала. И снова была она для меня той школьной, родной девчонкой.

Настанет время, и опять,
опять мы встретимся с тобою.
И будем вместе мы гулять
вечерней поздней порою.
И для меня лишь ты одна,
тобой живу все эти годы.
Зацеловал бы допьяна...
да разделяют нас полгода.

Это опять Толя Ширкевич. Впрочем, неважно, чьи стихи... А почему неважно? Очень даже приятно, что написал свой же брат-пограничник, такой же солдат, как и я.

Жаль, нет у Толи стихов о маме — ей бы прочел с особым чувством. Как она убивалась, не хотела отпускать — день бы еще, полдня... Ни словом не попрекнула, но в глазах был укор. И только сейчас, при расставании, мне стало мучительно стыдно, что почти не бывал дома, толком ее не видел, ни разу по душам не поговорил... Прости меня, мама.

Отец усадил меня рядом, обнял за плечи:

— Я ни о чем тебя не спрашиваю, сын. Сам служил, знаю — не все можно сказать. По-честному — опасно у вас?

— Что ты, батя, — успокоил я. — Граница дружественная.

— Вроде бы двойная.

— Вот именно.

Тут я не кривил душой, говорил искренне, не прибегая для успокоения к святой лжи, как нередко бывает. С пограничниками сопредельной стороны у нас самые тесные, дружественные отношения.

Что и говорить, куда легче охранять границу, зная, что перед тобой надежные товарищи, с которыми выполняешь одну и ту же задачу. Все уверены, что если кому-то и удастся нарушить границу, дальше сопредельной стороны он не уйдет — задержат, вернут. Так что можешь не беспокоиться, отец, вместе мы вдвое зорче.

...А ночь на исходе, на смену нам заступает другой пограничный наряд.

VIII

Со всех сторон меня окружили деревья — старые кряжистые дубы, высокие сосны, раскидистые ели, светлые березы, тонкий орешник... Они устремились к вершине небольшой острой горы Дубовая, чтобы полюбоваться округой и тут же спуститься — до следующей горки.

Мягко пружинит толстый слой листьев, плотно укрывший землю бог весть за сколько лет. Широкий луч солнца случайно застрял в лесу и напоминает мне, привыкшему к пограничным сравнениям, прожектор в ночи. А вверху виднеется яркое, без единого облачка небо.

Бездумно брожу по лесу, сажусь на широкие, в добрый стол, пеньки, лежу на мягких листьях, долго смотрю в небо и наслаждаюсь тишиной, нарушаемой лишь свистом птиц. Такой тишины нигде и никогда не бывает — только в приграничном лесу. И такой первозданной природной чистоты.

— До чего хорошо! — не выдержал как-то Игорь Янушкевич. — Идешь на рассвете по дозорке, светишь

фонариком, и вдруг солнце встает. Большое, красное... Небо пылает, росинки сверкают, лес замирает. Так красиво — уходить не хочется. И усталости нет — как будто и не шагал много часов подряд. Ну что еще нужно, друзья мои?

Он у нас такой, Игорь Янушкевич. Недавно выступил с лекцией о коллективизме и дружбе в погранвойсках — заслушались. Мы даже сами не знали, что такие хорошие.

У меня сегодня выходной. Брожу по лесу, лежу на траве, слушаю птиц... А надоест — пойду на заставу и буду делать, что понравится — даже спать на день завалюсь, лишь бы выдержали бока.

Выходной — это святой и неприкосновенный день. Его дают каждому в отдельности — в зависимости от общей обстановки, если она нормальная.

Поглажу обмундирование, подошью свежий подворотничок... Великое дело — белая полоска. Как бы ни выглядел сам солдат, его всегда выручит свежий подворотничок — придаст ему бравый вид, молодцеватость, бодрость.

Напишу письма — прежде всего маме. Надо все-таки совесть иметь — все Рае да Рае, а маме редко, да и то в двух строках: жив, здоров. Как мы умеем забывать мам — зло, безжалостно. А ведь случись что — не к кому-нибудь, а к маме.

А Рая молодец — зря я в отпуске на нее грешил: часто пишет. Перед ребятами порой неудобно — такой я сияющий и счастливый. Тем более что у многих разладилась переписка — надоело, видно, девушкам ждать. Или все же прав Янушкевич — никаких до армии амуров?

Обратил я на днях внимание на Колю Кузнецова, спокойного, никогда не падающего духом. Стоило только увидеть Колю — его крепкую фигуру, широко разведенные плечи, крутой упрямый подбородок, появлялась уверенность, на душе веселее становилось. А теперь он сам не свой: с лица спал, согнулся.

— Что-нибудь случилось? — спрашиваю.

— Ничего, — буркнул.

— По службе? — пытаюсь разговорить.

— А что может быть по службе? — усмехнулся. — Не первый год. Писать перестала... — И посмотрел ну не то чтобы с тоской, а как-то невесело.

— Напишет,— утешил я. Что еще в таких случаях скажешь?

— Не буду читать,— отрезал Кузнецов.— Порву.

— Зачем же сразу? Может, случилось что.

— Спрашивал сестру. Видела ее с кем-то.

— Это еще ни о чем не говорит — мало ли какие бывают встречи.

— Еще как говорит — если девушка все время с одним и тем же. Ладно, хватит об этом. Кончили.

Он начал ожесточенно зачищать какие-то контакты в линии связи, вкладывая в работу все невысказанные слова. И вдруг сказал:

— Скоро домой. Приеду и первым делом к ней.

— Зачем? — испугался я.

— Просто так. Посмотреть в глаза. Понять душонку.

— Ну посмотришь, поймешь, а дальше?

— Повернусь и уйду. Мы, пограничники, гордый народ.

— А если раскается, попросит прощения?

— Нет, брат, тут уже все — отрезано!

Хотел бы я обладать такой твердой уверенностью и железной волей. Впрочем, это он сейчас непримиримый, а там кто его знает, как оно еще повернется. Если каждый раз так отрезать, то скоро и резать нечего будет, хотя только-только начинаем. Что мы в жизни видели, кроме школы, армии, что знаем? Нам еще шагать и шагать, носы разбивать, отчаиваться, падать, подниматься, снова шагать, пока не придет то великое знание, которое называется личным опытом, особенно в сердечных делах и любви. Кто-то из мудрых людей — плохой я был читатель, даже не помню кто — остроумно заметил, что первая любовь всегда кажется последней, а последняя первой. Если по-честному, то мы не испытали еще и первой — скорее всего, вообразили в разлуке бог весть что. И ничем девушки нам не обязаны, ничего не должны — они даже не успели как следует разобраться в своих полудетских чувствах, не то что полюбить. Ничего этого я Кузнецову, разумеется, не сказал, — глупо, жестоко и, конечно же, неуместно взывать к рассудку, если болит сердце. Да и не мне рассуждать, а тем более поучать в моем счастливом положении. Я стараюсь только как можно незаметнее получать Раины письма, чтобы не расстраивать ребят.

А день-то какой нескончаемо длинный — вот что значит ничего не делать. Начнешь, пожалуй, понимать пенсионеров, которые места себе не находят.

Правда, кое-какая работа на сегодня есть — вечером будем проводить очередные занятия с юными друзьями пограничников. Я — в военном городке, в школе-интернате имени Морина, Никонов, Васильев, Федоров — в ближайших сельских школах.

Попал я в наставники совершенно случайно, вроде бы и не по чину: все остальные, кому поручены занятия с ЮДП, — сержанты, один я рядовой.

Редкий день обходится на заставе без гостей. Что ж, застава отличная. К тому же у нас великолепная баня с парной... Такой, по-моему, нигде нет. Наш прапорщик сам руководил ее сооружением. Ей Фомич отдал всю любовь и весь многолетний опыт — может быть, потому, что хорошо помнил, какую роль сыграла баня в становлении всей заставы. Теперь даже солдаты-горожане, никогда раньше не знавшие парной и привыкшие плескаться в ванной, с нетерпением ждут банного дня. Особенно Янушкевич — до минуты использует отведенный час, умудряется зайти по второму разу, да еще утром, после службы, пока баня горячая.

В тот раз приехали на заставу далекие от бани и, пожалуй, самые беспокойные, хотя и приятные гости — ребяташки из школы-интерната, юные друзья пограничников. Случилось так, что офицеров и прапорщика не было, самым главным начальником оказался я — дежурный по заставе. Ждать офицеров и томить пока ребяташек? Учат же нас принимать самостоятельные решения — и я повел гостей по заставе. Показал службы, помещения, завел в библиотеку. А напоследок в комнату боевой славы — она производит сильное впечатление.

Начал рассказывать, увлекся и не заметил начальника заставы. Хотел доложить, но он остановил и попросил продолжать.

Вечером вызвал в канцелярию и огорошил:

— Будете заниматься с интернатскими ребяташками.

— Товарищ капитан...

— Что — товарищ капитан? Иль не справитесь?

Справиться, пожалуй, сумею — погранвойска многому научили. Да и проверил себя недавно — выступал в отпуске перед своим классом, даже по Киевскому те-

левидению транслировали. Но нельзя же всё на одного — не сказал — подумал я.

Капитан разгадал мои мысли. Взял бумагу, ручку, пододвинул мне стул:

— Садитесь. Подсчитаем пограничные сутки. Во сколько выходите на кухню?

Всего лишь за минуту он составил точный график моей службы — наглядный, понятный. Мне и в голову не приходило, что так разумно выглядят мои сутки. В двадцать два общий отбой и вместе со всеми сон — до двух ночи, то есть четыре часа. С двух до шести тридцати — кухня. С шести тридцати до десяти тридцати — еще четыре часа сна. В общей сложности получается восемь, а то что они разрублены — ничего не поделаешь, на границе у всех так. С десяти тридцати до тринадцати — хозяйственные работы или занятия. С тринадцати до двадцати — пограничная служба. Два часа остаются на библиотеку, книги, газеты, телевидение, письма. В двадцать два отбой.

— Все в норме?

— Так точно.

— Занятия один-два раза в месяц. Готовиться заранее и серьезнее — чтоб чувствовался пограничник.

— А время на подготовку?

Капитан с недоумением посмотрел на меня: дескать, о чем ты говоришь, неужели не найдем время?

Ну и взгляд у нашего капитана, когда он недоволен или его не сразу понимают, или задают глупые вопросы, вроде моего. Какой-то свинцово-тяжелый. И эти же глаза я видел мягкими, ласковыми, лучистыми — не один и не два раза, буквально на днях, когда к солдату Солянику приехали издалека мама, сестра и брат. Капитан послал за ними машину, встретил их у заставы, провел в свой кабинет, долго и душевно говорил со старой женщиной, приказал приготовить для гостей обед, позаботился о гостинице в городке, выписал Солянику увольнительную на двое суток... Наверное, не только на нашей заставе все это делается: гостеприимство, встреча солдатских родственников в традиции пограничных войск.

В общем, стал я чем-то вроде учителя-наставника шестого класса школы-интерната имени Морина. Тридцать любознательных девочек и мальчиков, шестьдесят глаз, и все ждут от меня особых откровений, словно в моих силах раскрыть им некий секрет.

Откуда у меня умение разговаривать с мальчишками (девчонки не в счет, они слушают внимательно, с раскрытыми ртами)? Не то чтобы даже умение, а терпение — что я, не помню, как мы донимали своих учителей и сколько они на нас нервов тратили?

Ничего, поладили. На втором занятии изучали автомат; на третьем знакомились с радиопередатчиком, установили двухстороннюю связь и сами разговаривали. Потом была строевая подготовка. Мои мальчишки вскорее так печатали шаг, что на городском смотре заняли второе место.

Капитан обрадовался и неожиданно посоветовал:

— Остался бы в погранвойсках. Есть у тебя такая струнка. Для начала на сверхсрочной, а потом в училище.

— Не думал, товарищ капитан.

— Понятное дело. Не спеши, подумай. Решать надо один раз — и на всю жизнь.

Подкинул идею капитан, заронил искру. Не так это просто — на всю жизнь пограничные войска. Получится ли, сумею ли?

Допустим, решусь, а как отнесется к этому Рая? Кажется, мы поняли друг друга и она сама заверила, что разделит мою судьбу. А разве это слово «судьба» не подразумевает любой поворот, всякую неожиданность?

Пока что никому ничего не писал — надо самому все обдумать. И вот ломаю голову — даже в свой выходной. Ах, капитан, капитан!

...Я не заметил, как забрел в глубину не очень обширного, но все же не знакомого мне леса. Тропинку неожиданно перерезала заросшая травой канава. Пошел вдоль нее и с удивлением обнаружил, что это не просто канава, а пехотная траншея. Выдвинутые вперед полузасыпанные окопы с едва различимыми карманами для гранат; высокий бруствер, крепко теперь слежавшийся и поросший травой; запасные окопы, отрытые чуть в стороне; дополнительные ходы сообщений... Густая россыпь насквозь проржавевших винтовочных патронов... Снарядные осколки... Диск от ручного пулемета...

«Как львы, дрались советские пограничники, принявшие на себя первый внезапный удар подлого врага. Бесмертной славой покрыли себя бойцы-чекисты, выученики Феликса Дзержинского...»

Эти слова из передовой статьи «Правды» от 24 июня 1941 года крупно написаны рядом с портретами героев-

пограничников. Сотни раз в день мы проходим мимо этой надписи, порой не замечая ее — настолько привыкли. И только здесь, в тихом лесу, который несколько десятилетий назад был начинен смертоносным огнем, на том самом месте, где шли кровопролитные бои, начинаешь со всей полнотой сознать величие подвига пограничников, беспримерную стойкость тех, кто защищал каждый клочок родной земли и грудью встал в этих местах против врага.

...Гитлеровское командование придавало особое значение этому важному пункту, прикрывавшему путь на Львов. Уже на рассвете 22 июня десятки вражеских самолетов нанесли мощные бомбовые удары по городским кварталам. Затем в бой были введены крупные силы пехоты и танков.

На защиту города встали бойцы 41-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Г. Н. Микушева и подразделения погранотряда. Ожесточенные схватки не прекращались ни на час. К вечеру советские воины отбили несколько атак противника. Кровопролитные бои шли и весь следующий день. Немцы выбросили парашютные десанты, которые были уничтожены воинами дивизии и пограничниками.

Основной удар фашисты наносили с запада. Туда на помощь стрелковому полку начальник пограничного отряда майор Я. Д. Малый направил группу пограничников во главе с помощником начальника политотдела по комсомольской работе М. М. Степаняном. Группа подошла вовремя: начиналась очередная вражеская атака. Дружным ружейно-пулеметным огнем отразили ее воины полка и пограничники. Когда противник начал отходить, из окопа выскочил Макар Степанян.

— Вперед! За мной! — крикнул он.

Бойцы ринулись на врага и четыре километра преследовали его. На поле боя остались трупы сотен фашистов.

Четыре яростные атаки отбили советские воины. В последней схватке осколок вражеской мины сразил Степаняна.

...Кровопролитные бои разгорелись и на других участках. 91-й погранотряд оказался в полосе наступления 17-й немецкой армии, имевшей в своем составе три армейских корпуса, усиленных танками, артиллерией и авиацией.

...Крупные силы противника обрушились на заставу, которой командовал лейтенант Г. П. Жучков. Трое суток удерживала застава оборону. Измученные жаждой и бессонницей, отрезанные от всего мира, пограничники сражались с врагом.

...Жестокие бои разгорелись на участке первой комендатуры и резервной заставы. Оборону организовал комендант участка капитан П. Ф. Строков. Вместе с воинами действовали и члены их семей. Двенадцатилетний пионер Шура Голубев — сын лейтенанта Голубева — подносил на передовые позиции патроны и гранаты. Под огнем противника он подполз к погибшему помощнику начальника резервной заставы и взял у него пистолет. Капитан Строков оставил оружие у мальчика, и Шура метко разил из него гитлеровцев. За мужество и отвагу пионер был награжден орденом Красной Звезды.

...На 14-ю заставу повели наступление две гитлеровские роты. Оборону организовал младший политрук Н. П. Чусов. Пограничники сначала занимали окопы и блокгаузы, а когда они были разрушены, перешли в казарму, превратив ее окна в бойницы. Ценой больших потерь врагу удалось ворваться в одно из помещений. В это время показался помощник начальника заставы лейтенант И. В. Помогайбо, который проводил отпуск в соседней деревне и даже не успел сменить гражданскую одежду. Схватив гранаты, он повел за собой пограничников. Бойцы вышибли немцев из помещения...

Все это стало мне известно из документов уже здесь, на границе. Я узнал, что до войны погранотряд охранял огромный и трудный участок границы в сто пятьдесят километров между реками Сан и Буг, что первыми в пограничных войсках медалей «За отвагу» были удостоены младшие командиры этого отряда Григорьев и Поляков — за бдительную службу и поимку матерых врагов. Мне стали знакомы и близки фамилии многих пограничников, встретивших врага на рассвете 22 июня 1941 года: начальника отряда майора Малого, в последующем генерал-майора; комиссара Никанорова; старшего лейтенанта Яблонского, воевавшего потом в Сталинграде; старшего лейтенанта Шудры и лейтенанта Макарова; младшего сержанта Руденко, который выпустил в фашистов подаренный ему на курсах снайперов именной патрон с надписью «Бей без промаха»; рядового Разу-

мовского и повара Якимюка, уничтожившего десять фашистов...

И еще узнал: в то время как до зубов вооруженный коварный враг, используя внезапность и вероломство, продвигался по территории нашей Родины, бойцы погранотряда; частей 41-й дивизии и 6-го укрепрайона перешли в наступление и отбросили фашистов на пять — семь километров. Вот что сообщалось в сводке Главного Командования Вооруженных Сил СССР за 23 июня 1941 года: «...Противник, вклинившийся с утра в нашу территорию, во второй половине дня контратаками наших бойцов был отбит и отброшен за госграницу».

Городок наши войска оставили 27 июня — по приказу командования.

...Я положил букет лесных цветов на бруствер траншеи.

IX

Вот это новость! Наш рассудительный Янушкевич, посмеивавшийся над сердечными переживаниями товарищей, твердо убежденный и доказывающий, что до увольнения из армии нельзя иметь никаких серьезных знакомств, завел оживленную переписку. Теперь он никого не поучает, только с нетерпением ждет писем, без конца перечитывает мелко исписанные страницы.

Все получилось неожиданно.

На заставу пришло бесфамильное письмо с надписью — «Всем, для всех». Его тут же нераспечатанным отнесли связистам.

Комната связи — негласный центр всей жизни. Сюда стекаются заставские новости, здесь обсуждаются наблевшие вопросы, у связистов почему-то всегда самые интересные книги... Даже капитан нередко прибегает к помощи связистов, особенно тогда, когда надо смастерить какой-нибудь сугубо пограничный сувенир для гостей заставы.

Янушкевич вскрыл письмо, быстро прочитал и передал Кузнецову. Тот хмуро посмотрел на подпись:

— Что она хочет?

— Читай, читай. Девчонка, кажется, совсем не глупая.

— Может быть. Но, как тебе известно, с некоторых пор меня девушки не интересуют.

— Прочти, говорю. Тут дело не в девушке, а в нашем Оноприенко.

Кузнецов скептически пожал плечами.

Некая Оля из Кременчуга, брат которой переписывается со своим другом, пограничником заставы имени Морина Оноприенко, совершенно случайно узнала о невообразимых трудностях, выпавших на долю солдат. В увольнение, пишет Оноприенко, не пускают, девчат поблизости нет, развлечений никаких — скучно, тоскливо, да еще плавать без конца приходится. Как выдержат два долгих и трудных года?

«Неужели все это так? — с ужасом спрашивает в письме Оля. — А что делать тому, кто не умеет плавать? И как вообще можно жить без культурного отдыха?»

— Наивная девчонка, — заметил Кузнецов.

— Она что — могла и поверить. Оноприенко хорошо — наплел с три короба.

— Оноприенке вправим мозги, а письмо надо выбросить...

— ...И подумает девчонка, что или действительно все так, или просто черствые люди пограничники, — подхватил Янушкевич.

— Лично меня совершенно не интересует, что она обо мне подумает. А если ты очень беспокоишься и хочешь красиво выглядеть — отвечай. Только не забудь разъяснить, что Оноприенко — набитый дурак, а плавать — это всего-навсего мыть полы.

Янушкевича тоже не волновало, что о нем кто-то подумает — не такой он человек. Наоборот, всегда поступал так, как считал нужным, не примеряясь к чужому мнению и не оглядываясь; нередко, даже во вред себе, шел напролом и прямо выкладывал свои мысли. Далеко не всегда и не всем это нравилось, но солдаты, особенно молодые, ценили и прямоту Янушкевича, и его замечания по большому счету, а не по нудным раздражающим мелочам.

— Мне, думаешь, хочется писать?

— Не пиши.

— И отмолчаться нельзя...

В общем, сел Янушкевич за письмо. Долго писал — не один день, не обращая внимания на иронические советы и подковырки ребят. Рассказал девушке Оле о пограничной службе, которую все должны одинаково исполнять, где нет ни для кого привилегий; напомнил,

что в армии не существует штата уборщиц и плавают, то есть моют полы, все поочередно — ну разве что какой-нибудь Оноприенко схалтурит — тогда придется ему сверх всякой очереди еще раз драить; привел в пример себя и солдат второго года службы, которые живут интересно и вовсе не тоскуют по увольнению; сообщил о клубе на заставе, библиотеке, телевизоре и в заключение очень сердечно попросил девушку Олю не расстраиваться напрасно, беречь ясные глаза и не беспокоиться о солдатах, в данном случае — о пограничниках, которые с гордостью носят зеленые погоны и фуражки.

Письмо было зачитано вслух и всеми одобрено. Ребята даже хотели подписаться, но Янушкевич не дал.

— Нет уж, самим надо шариками ворочать. Мне шишки, мне и пышки.

— Думаешь, будут пышки? — усмехнулся Кузнецов.

— Ничего я, Коля, не думаю. Это ты обжегся и теперь думаешь. Мое убеждение тебе известно. Просто не хочу, чтобы ответ выглядел коллективной отповедью. Не надо наповал бить слабую девочку.

Недели через две или три — мы уже успели забыть об Оле — Янушкевич получил вдруг письмо. С улыбкой вскрыл конверт, небрежно пробежал глазами листки... И вдруг, словно споткнувшись, остановился, удивленно и растерянно посмотрел на ребят, с нетерпением ожидающих остроумных комментариев, снова уткнулся в письмо — на этот раз без всякой улыбки и небрежности, даже совсем наоборот, с каким-то недоверчивым радостным удивлением.

— Ну что там? — слышались нетерпеливые возгласы.

Игорь молча протянул письмо.

Девушка Оля из Кременчуга писала:

«Большое тебе спасибо, Игорь, за письмо. Особенно если ты писал его от себя лично, а не от имени и не по поручению коллектива. Как ты смотришь на продолжение нашего случайно начатого разговора? Только честно — я ведь не навязываюсь, мне в самом деле очень интересно.

Видел бы ты, какими завистливыми взглядами одарили меня подруги, когда я обнаружила в почтовом ящике твое письмо. Солдат пишет! С твоей помощью я теперь герой дня — боюсь, что скоро от меня потребуют подробных рассказов о службе и армейской жизни, будто

я сама все испытала. Так что, милорд, если не хотите поставить незнакомку в неловкое положение, будьте до конца рыцарем и пишите со всеми подробностями.

А если говорить серьезно, без ссылок на подруг, то мне очень хотелось бы получить не общее, а конкретное письмо с подробным рассказом о тебе и твоей жизни. Был ли у тебя отпуск? Правда ли, что его дают только тогда, когда поймашь нарушителя? Что такое вообще граница и чем она тебя лично привлекает? Трудно ли служить в погранвойсках? И о себе напиши побольше — что читаешь, чем интересуешься, о чем мечтаешь, что будешь делать после увольнения из армии?.. Мне кажется, что у нас много общего — во всяком случае, одно я уже обнаружила: у тебя такой же мелкий почерк, как у меня. Говорят, по почерку узнают характер человека. Если так, то у нас одинаковые характеры. Но на всякий случай, чтобы ты имел какое-то представление, напишу о себе. Только не улыбайся скептически и не думай, пожалуйста, что я хочу представить себя в наилучшем виде. Пишу так, как обо мне говорят друзья.

Вспыльчивая (видишь?), умная (может быть), скромная (сомневаешься, особенно после моего первого неожиданного письма?), иногда злючка, ну и так далее. Если продолжим переписку — по ходу действия узнаешь больше и подробнее.

Да, не обижаешься ли, что обращаюсь к тебе на «ты»? Терпеть не могу, когда люди, особенно ровесники, чопорно величают друг друга — по-моему, от «вы» несет холодом, оно отдаляет.

Ты еще не уснул, читая мое послание? Уснуть, может, и не уснул, но зевал частенько. Разве не так? Заметь, что я повторяю слова из твоего письма, которые ты мне адресовал совершенно зря, — читала с интересом и оценила твой юмор. Одно непонятно: почему ты писал глубокой ночью? А, догадалась, — дежурил! И, чтоб не заснуть, сочинял письмо, мучительно думая: «Черт ее знает, что ей еще написать, и, главное, так, чтобы до нее дошло». Ну что, права я?

Ладно, ладно, заканчиваю. О брюках и юбках спорить не люблю (на этот счет у каждого должно быть свое мнение), но с благодарностью воспользуюсь твоим милостивым разрешением задавать любые вопросы.

До свидания, гордый князь Игорь ».

— При чем тут брюки, какие юбки? — спросил кто-то из ребят.

Игорь не ответил. Молча взял письмо, бережно спрятал его.

Теперь наш «гордый князь Игорь», как написала девушка Оля, с видимым нетерпением ждет писем из Кременчуга. Вот так оно получается, никогда нельзя зарекаться...

Кузнецов презрительно поглядывает на «павшего» друга. После измены Игоря воплощением мужской стойкости стал он — Коля Кузнецов. Но мне почему-то кажется, что эта роль его не очень устраивает, если и во все не тяготит и, найдись еще одна такая Оля, Кузнецов с радостью начал бы писать.

Саша Уткин не скрывает своих чувств и откровенно завидует Янушкевичу, даже просит:

— Передай от меня привет.

— Зачем? — удивляется Игорь.

— На всякий случай, — неуверенно говорит Уткин и с неожиданной решимостью добавляет: — А вдруг у нее такая же подруга.

— На меньшее не согласен? — прищуривается Игорь и, окончательно смутив застенчивого Уткина, обещает: — Ладно, Саша, передам.

Где-то в душе я завидую спокойной уверенности Янушкевича и даже робкой просьбе Уткина — хотя, казалось бы, кто-кто, а я не должен никому завидовать: настолько у меня все прочно, постоянно, счастливо. Но, боюсь, что начинаю понимать Кузнецова и все чаще думаю о том, что постоянство, счастье — понятия относительные.

Почему так давно нет письма от Раи? Что-нибудь случилось? Или испугало мое решение остаться на сверхсрочную?.. Родители отозвались быстро: мама пока еще не может свыкнуться с мыслью, что всегда буду далеко от нее; отец сдержанно, по-мужски одобрил, но посоветовал, пока есть время, подумать еще и еще раз... А Рая молчит...

Может быть, я слишком нетерпелив, но времени прошло больше, чем нужно. А тут еще приехали на заставу школьники из нашего города и моя бывшая классная руководительница Галина Ивановна Кудь — невольно вспомнишь дом и все, что с ним связано.

Неугомонная, целеустремленная Галина Ивановна! Это она когда-то натолкнула нас на игру «Кордон»; благодаря ей школьная застава получила имя Героя Советского Союза Ф. В. Морина; не без ее влияния ребята дали перед окончанием школы клятву служить в пограничных войсках — и все сдержали клятву, в том числе и ее сын Тарас. И вот снова привозит она на заставу школьников.

На этот раз приехала и руководительница четвертого класса, который принимает моринскую эстафету, Раиса Васильевна Свитницкая, а с ней — представительница будущих моринцев, четвероклассница Мариночка Нестеренко. Наследная принцесса — так называли ее наши солдаты. Отбросим принцессу, а наследная — это точно: в строй вступает третье поколение юных моринцев.

К приезду школьников капитан приурочил награждение пограничников почетными знаками. Мой знак «Отличник погранвойск» I степени он передал Галине Ивановне, попросив ее вручить мне эту награду.

— У вас на это больше прав, — сказал капитан. — Мы знаем Горобца около двух лет, вы же его воспитывали все школьные годы. И если мы сегодня гордимся рядовым Горобцом, ставим его в пример — в этом прежде всего ваша заслуга.

Взволнованная Галина Ивановна приколотла мне знак. А я думал о том, каких нервов стоили мы своим учителям, сколько сил и здоровья отдали они нам. Все это понимаешь спустя годы, на расстоянии, и вряд ли собравшиеся здесь восьмиклассники сознают это так же остро, как мы.

Значок юного друга пограничников капитан вручил Мариночке.

Никого уже не знаю из нынешних школьников — ни Сергея Грубого, начальника школьной заставы, ни комиссара Иру Бицкую, ни разведчиков Петю Лозницу, Сашу Сугак, ни санитарок Валю Луценко, Лиду Святецкую... Далеко ушел я от школы, если не по годам, то по прожитой жизни. Но это нисколько не мешает праздничному настроению — не только моему, но буквально всего личного состава заставы. И дело не в разнообразии, которое внес приезд школьников в нашу жизнь, и не в трогательных подарках. У многих дома остался братик или сестренка, которые вспоминаются с особой нежностью. И всю свою привязанность, все ласки мы стремимся отдать школьникам.

Капитан тут же положил этому конец:

— Не баловать! Не в дом отдыха приехали. Хотите заботиться, пожалуйста, проявляйте внимание, но и требуйте, спрашивайте.

— Товарищ капитан, они же не на службе,— возразил Сашко Любченко.

— Ишь, какой жалостливый! Значит, ты хороший, а я плохой? Все по распорядку — занятия, работа, служба, стрельба, физподготовка...

— Тяжело,— засомневался старший лейтенант. Судя по лицам, многие с ним согласились.

— А ты себя вспомни в шестнадцать лет,— посоветовал капитан.— Я, например, многое умел и с радостью занимался воинской наукой. Да что вы в самом деле, они же не на шутку считают себя пограничниками, второй нашей заставой — пусть привыкают.

И тут же посыпались приказания. Проложить след и пустить по нему школьников вместе с Олегом Ивановым и его Аргоном; создать из ребят тревожную группу и устроить учебную тревогу; показать участок границы и поднять на вышки; провести занятия в спортгородке; всем без исключения — и мальчикам, и девочкам — отстреляться из боевого оружия; выделить школьный наряд на уборку территории, хозяйственные работы, озеленение...

— Только так,— закончил капитан.— Им это больше понравится и запомнится, чем бесцельное шатание.

И опять он оказался прав, наш капитан. Мальчишки с радостью надели пятнистые куртки, вооружились ножами и так рванули по следу, что Аргон удивился — он привык быть впереди, а не позади. Правда, через несколько часов ребята пришли мокрые и загнанные — Аргон знал свое дело, по следу шел ходко, не угонишься,—но все равно довольные и счастливые. Девочки старательно исполняли обязанности дежурных связисток, бесстрашно поднимались на вышку, тщательно убирали территорию... И каждый старался сделать все четко, быстро, по-военному.

Только Саша Уткин переживал:

— От девчатки! Одну порцию вчетвером едят — и сыты. Разве то дило?

Наступил день отъезда. Мы собрались в ленинской комнате — классные руководительницы, Чалый, Кузнецов, я — и начали составлять письмо-рапорт в республи-

канскую газету «Зірка», по которому жюри будет судить о результатах соревнований школьных застав:

«За время пребывания на заставе юные моринцы провели вместе с тревожной группой пограничный поиск по обнаружению следов и задержанию «нарушителя», несли вместе с дневными и ночными нарядами службу по охране государственной границы, принимали участие в работе прожекторной установки, стреляли из ручного пулемета по мишеням, преодолевали полосу препятствий в учебном городке, участвовали в озеленении территории».

— Мало,— сказал капитан, когда принесли бумагу на подпись.

— Нам лишнего не надо,— испугалась Галина Ивановна.

— Кто об этом говорит? — успокоил капитан.— Но что было, то было.

— Как будто все записали...

— Да?! А знакомство с историей отряда и заставы, с подвигами героев? Беседа Чалого о современной границе, вечер отдыха с пограничными стихами и песнями?..

— Это не имеет отношения к условиям игры,— запротестовала Галина Ивановна.

— Ошибаетесь,— мягко поправил капитан.— Мы не только охраняем границу, но и воспитываем людей. Нам, Галина Ивановна, не все равно, какими вырастут юные моринцы. Пишите, пишите.

Через несколько часов школьники уехали, оставив теплые, щемящие воспоминания.

...А писем мне нет и нет. Не знаю, что и думать.

Х

Ночь выдалась глухая, темная. Сильно и порывисто дул ветер, беспокойно шуршал камыш, шумел вдали лес. По небу безостановочно мчались раздутые черные тучи.

Пограничные сутки начались как обычно. Сначала — построение личного состава. Потом — четкий доклад, приветствие и, наконец, слова:

— На охрану Государственной границы Союза Советских Социалистических Республик назначаются...

Хорошо знакомый, каждый день неизменно повторяющийся и всегда, как впервые, волнующий ритуал. Пройдут годы, десятилетия, отслужат в армии наши сыновья, внуки, придут правнуки, и всегда со всеми будет нести почетную и трудовую пограничную службу лейтенант Федор Васильевич Морин. Вот что сказано в приказе председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР:

«В целях увековечения имени отважного советского пограничника приказываю:

Присвоить имя Героя Советского Союза лейтенанта Морина Федора Васильевича пограничной заставе и впредь именовать ее — имени Героя Советского Союза Ф. Морина.

Занести имя Героя Советского Союза Ф. Морина в списки личного состава заставы — навечно».

Нести службу старшим нарядом не так просто, это право надо завоевать: дается оно после того, как опыт, умение, пограничная выучка не вызывают никакого сомнения. Старший наряда — это всегда специалист, наставник. На заставе висит список тех, кто удостоился чести быть старшим наряда, и тех, кто зачислен кандидатом в старшие. Здесь же помещены фотографии членов совета старших пограннаряда — Иванова, Федорова, Теребилова, Васильева и Зайцева. Да, да, того самого Вити Зайцева, который когда-то, кроме птичек, ничего не слышал и не замечал.

Могилевский обком комсомола попросил недавно дать характеристику на Зайцева. Офицеры долго спорили и ломали голову — не по поводу Зайцева, а как написать бумагу: с одной стороны, это характеристика, которая, как известно, имеет определенную форму, даже стандарт; в то же время хочется сказать душевные слова. Наконец договорились, пошла в Могилев не совсем привычная, но проникновенная характеристика — немало в ней было теплых слов, смысл которых сводился к тому, что когда Зайцев находится в пограничном наряде, можно быть уверенным, что никому не удастся нарушить границу Родины.

А кончалась характеристика словами: «Успехи вашего посланника в боевой и политической подготовке отмечены высокими знаками солдатской доблести — «Отличник Советской Армии», «Отличник погранвойск» II степени.

Командование заставы благодарит областную комсомольскую организацию за воспитание достойного сына Родины».

Хотел бы я когда-нибудь получить такую характеристику.

...В двадцать два часа, получив приказ на охрану границы, мы отправились на левый фланг. Доложив на заставу, что участок принят под охрану, я вполголоса поставил задачу:

— Рядовой Гаевой! Вы идете впереди, проверяете второй план контрольно-следовой полосы, просматриваете местность перед собой. Я двигаюсь позади, проверяю первый план КСП, держу над наблюдением тыл. Сигналы взаимодействия...

Тьма сгустилась до того, что пограничные знаки едва видны. И если бы не до мельчайших подробностей изученная, сотни раз исхоженная тропа, если бы не места, знакомые до того, что каждый из нас мог пройти их с закрытыми глазами, можно было бы легко заблудиться, потерять друг друга, запутаться... Но на то мы и пограничники...

Подключив телефон к розетке, я сообщил дежурному по заставе:

— Старший наряда Горобец. Все в порядке. Продолжаю движение.

Только повесил трубку, как вдруг раздался едва слышный сигнал. Тот, что означает — вижу неизвестного.

Застыв на месте и притаившись у столба, я напряженно всмотрелся в темноту и увидел черный, едва различимый силуэт, движущийся по нашей стороне вдоль границы. Неизвестный держался относительно спокойно. Обратил он внимание на сигнал или нет — трудно сказать, но нас он не видел: Гаевой лежал, я стоял за столбом.

Наступил тот момент, к которому каждый пограничник готовится долгие месяцы службы. Та минута, когда надо действовать мгновенно, точно, решительно и самостоятельно — ошибок не должно быть, они могут привести к непоправимым бедам. И времени на советы и

раздумья не отпущено: не попросишь нарушителя, чтобы он подождал, пока ты сговоришься с товарищами или позвонишь на заставу.

Но недаром застава считается отличной и не случайно предъявляют командиры высокие требования к подчиненным даже во время учебных тревог. Каждый из нас знает, что нужно делать и как поступить в ту или иную минуту. В любых условиях, в любой неожиданной ситуации.

Гаевой бесшумно забежал вперед и чуть в сторону, чтобы перекрыть нарушителю пути отхода к границе. Я зашел сзади. На все это потребовались считанные секунды. И тут же послышался громкий окрик Гаевого:

— Стой! Пропуск?!

Нарушитель кинулся обратно к границе.

— Стой! Стреляю!

Неизвестный остановился.

— Ложись! — приказал Гаевой.

Я подбежал, чтобы помочь Гаевому, но вдруг...

Ох как часто появляется в жизни это «вдруг», которое все ломает, меняет, переиначивает!.. А если говорить о нашей пограничной действительности, то и она нередко состоит из таких неожиданностей; правда, мы к ним постоянно готовы.

Показалось мне или сработало какое-то сверхчувство, но я уловил еще чье-то присутствие. Мгновенно обернувшись, поймал краем глаза мелькнувшее и тут же исчезнувшее черное пятно. Птица?.. Ветка, наклоненная ветром?.. Причуды разыгравшейся фантазии?.. Нет, не знаю, но проверить обязаны...

— Вызывайте ракетами тревожную группу, — приказал Гаевому и бросился за исчезнувшим пятном.

Я бежал напрямик, продираясь сквозь густой, жесткий кустарник, перепрыгивал через ручейки, переходя вброд густо поросшие травой и до краев заполненные болотной водой канавы и овражки, увязая в небольших, но частых болотах... Колючий кустарник рвал обмундирование, в сапогах чавкала вода... Я не ощущал глубоких царапин, которые в другое время потребовали бы перевязок... Я преследовал нарушителя границы.

Теперь я уже не сомневался, что это именно нарушитель: где-то впереди слышался треск сучьев, до меня доносилось тяжелое дыхание. Границу нарушили двое —

один, поменьше рангом, почти не прячась, чтобы или пройти, или отвлечь внимание пограничников; другой, поважнее, держался за ним и должен был действовать соответственно обстановке, но в любом случае — пройти.

Все эти мысли пришли в голову потом, когда я узнал, что ракеты Гаевого заметил часовой у заставы Котов и поднял тревожную группу; когда группа прибыла на место и тут же бросилась по моим следам; когда первый задержанный дал показания... А тогда я просто преследовал нарушителя, стремясь во что бы то ни стало нагнать его и задержать.

Местность на нашей границе для таких сумасшедших кроссов отнюдь не лучшая — леса, перелески, густой кустарник, вода, болото... Правда, рядом проходит асфальтированная шоссейная дорога, и я очень боялся, что нарушитель воспользуется этой дорогой, прицепится к какой-нибудь машине и уйдет.

Но нарушитель, видимо, избегал дороги — скорее всего, он предполагал, что на дороге ему несдобровать. Пока что он кружил по лесам и болотам, стараясь сбить меня со следа, запутать. Но и я ведь не один месяц служил на заставе. Правда, далеко от границы, в глубь нашей территории не забирался и не знал досконально каждую пядь. Но сейчас я преследовал напрямую — невозможно было ошибиться, сбиться со следа. И время работало на меня — ночь заметно шла на убыль, уже различались отдельные деревья, словно оторвавшиеся от черной массы леса.

Я бежал уверенно, легко и чувствовал, как сокращается расстояние — шум, треск впереди стали гораздо ближе. Одного я не знал: вооружен нарушитель или нет, будет ли он стрелять? Но мысль эта проскользнула стороной, не задерживаясь.

Сколько мы так кружили, отдаляясь от границы, я понятия не имел. Знал одно — во что бы то ни стало должен догнать и задержать — должен, обязан!

Время от времени, когда движение впереди ненадолго затихало, я невольно, не останавливаясь и не задерживаясь, сжимался, ожидая выстрела. Но его не было — нарушитель, очевидно, избегал шума, надеясь все же уйти.

Разгоряченный погоней, я с маху врезался в глубокое болото и тут же увяз в нем. Цепляясь за камыши, с трудом вытаскивая ноги, я упорно двигался вперед. И вдруг увидел нарушителя. Он тоже застрял в болоте и тоже рвался вперед, едва продвигаясь и жадно глотая воздух. Я остановился, вскинул автомат:

— Стой!

Не оборачиваясь на мой крик, нарушитель проталкивался к краю болота — правда, уже робко, неуверенно, боком.

— Стой! — повторил я и рванулся вперед из последних сил.

В это время раздался громкий лай, мимо меня проскочил Аргон. За ним бежал Иванов, а чуть поодаль — вся тревожная группа.

Нарушитель поднял руки.

— Товарищ капитан, — доложил я подбежавшему начальнику заставы, — пограничный наряд...

— Знаю, все знаю... — Капитан обнял меня. — Озяб? В машину!..

Я залез в машину и тут только почувствовал боль, холод, усталость. Привалившись к борту, я мгновенно уснул...

XI

Праздник!

Знаете ли вы, гражданские люди, живущие дома в окружении родных и друзей, что такое праздник на заставе? Тем более такой для нас близкий и знаменательный, как День пограничника? Нет, мы не получили никаких увольнений, никто не освободил нас от службы — наоборот, в эти сутки были назначены в наряд наиболее опытные, умелые, бывалые пограничники, заслужившие особое доверие и высокую честь. И если посмотреть со стороны, то вроде бы никакого праздника и нет — тот же железный распорядок, та же четкость, те же приказы, разве что без классных и полевых занятий.

И все-таки праздник виден и чувствуется во всем, а главное, в приподнятом настроении ребят.

Миша Андрущенко ходил с загадочным видом, потом не выдержал:

— Накормлю вас сегодня — пальчики оближете.

— Мы-то, Миша, ладно, — заметил Кузнецов, — смотри, чтоб гости были довольны.

Вот еще чем хороши и знаменательны праздники — приездом шефов. А если точнее и честнее — девчатами, которые соберутся со всей округи.

Шефы у нас такие, что хочется их принять в День пограничника — да в любой другой праздник — как можно лучше. И хотя шефов не удивишь конфетами, лимонадом, тортами, — скорее, они нас опять побалуют чем-нибудь вкусным и необычным, но коль мы сегодня хозяева, то и принять должны гостей щедро, широко и душевно.

— Так ты понял, Миша? — повторил Кузнецов.

— Первый раз, что ли? — обиделся Андрущенко.

Программу праздника придумывали коллективно, заранее и тщательно. Знакомство с заставой и нашей жизнью, спортивные соревнования, праздничный обед, танцы, выступление самодеятельности, ужин и опять танцы. Само собой разумеется, каждому гостю букет роскошных цветов — тут уж нас никто не перещеголяет: цветов кругом полно, самых разных — ландыши, тюльпаны...

Коридоры устлали новыми ковровыми дорожками, столовую чуть ли не всю оплели зелеными ветками и свежей хвоей. Огромные букеты цветов положили на койку Морина, к портретам героев-пограничников. Капитан придиричиво осмотрел каждого из нас, хотя, честное слово, тут он перестарался (что мы — маленькие, у которых надо проверять ушки и ладошки, сами не хотим выглядеть наряднее?). Не случайно чуть ли не неделю невозможно было завладеть утюгом и пробыть в бытовую комнату. А пуговицы и знаки мы так надраили, что глазам больно.

Гости начали съезжаться часов в двенадцать. Мы встречали их у ворот заставы и провожали в помещение. Далеко вперед, километра за три, была выслана группа с радиостанцией, которая предупреждала о приближении машин с гостями — вот почему мы каждый раз вовремя оказывались у ворот и успевали даже открыть дверцы машин. Только это строгий секрет: если капитан узнает, что разболтали, задаст перцу. Но и у нас был свой секрет от капитана: мы наказали радистам смотреть во все глаза и сообщать, есть ли в машинах девушки. Как толь-

ко поступал соответствующий сигнал, навстречу гостям выходили самые видные, обходительные ребята, вроде Крылова, Никонова, Янушкевича, Кузнецова, и такой «гарный хлопец» с длинными темными ресницами, как Волынец. Капитан только удивлялся нашей догадливости и оперативности, а мы помалкивали, перехватывали девушек, оставляя ему почетных гостей — Петра Петровича Гришко, районное начальство, ветеранов войны.

Шефы, конечно же, приехали с обильными дарами — конфеты, торты, коробки... Но, честно говоря, нас в это время больше интересовали девушки — нарядные, красивые, обаятельные. Подходить к ним — робость одолевает. Да и они, как выяснилось, тоже поначалу оробели, увидев зеленые фуражки, погоны, до блеска начищенные сапоги. Но вскоре нашли общий язык — такой понятный, что забыли о сдвинутых, обильно уставленных столах...

Но хорошо, что капитан наш обо всем помнит, ничего не забывает. И как это ему удается? Кажется, до того увлечен разговором, занят гостями, что и оглянуться некогда. Так нет же, все видит, слышит, помнит, замечает.

Он совсем не ханжа, наш капитан. Любит веселье, танцы, азартно и хорошо играет в волейбол, не чужд острого слова — ему всего лишь тридцать семь, в других условиях он был бы нашим равным товарищем. Но здесь, на заставе, он заботится о нас, как добрый отец — и он, и совсем молодой старший лейтенант, и тем более прапорщик. Ну, а какой отец, как бы ни был он увлечен или занят, упустит из виду сына, не кинет остерегающий, а возможно, и ревнивый взгляд?

Но вы уж извините, дорогие командиры, сегодня ваши взгляды не очень действуют. И не волнуйтесь, ради бога, все в норме. Ну разве что чуть дольше задержал девичью руку бойкий Гриша Волынец; осмелел и разговорился Коля Самок, безотказный исполнительный трудяга, отличный солдат и великолепный кочегар; самозабвенно кружится в вальсе Коля Верес; записывает адрес Саша Уткин и, кажется, помягчел, заулыбался, оттаял Коля Кузнецов...

Ничего в этом плохого. Будут адреса, письма, теплые слова. И долго будет храниться память о светлом празднике, девичьих улыбках.

Солдату это нужно, солдат не может без этого.

Капитан встал, поднял руку. По его торжественному виду мы поняли: произойдет что-то необычное.

— Дорогие товарищи пограничники, уважаемые гости! Ветераны-пограничники, участники Великой Отечественной войны решили от своего и от нашего имени, от имени нынешних юных друзей пограничников обратиться к потомкам, к тем, кто придет на границу в 1998 году, в год празднования восьмидесятилетия пограничных войск Советского Союза.

В наступившей тишине прозвучали слова завещания:

...Вы будете читать эти строки, когда многих из нас не останется в живых. Мы завещаем вам горячую любовь к Родине, преданность делу Коммунистической партии, мужество, стойкость, целеустремленность и отвагу. Помните всегда о тех, кто, не щадя жизни, стоял насмерть и не дрогнул перед вооруженными до зубов полчищами врагов, кто принял героическую смерть во имя свободы и независимости Родины».

В завещании говорилось о большом и героическом пути пограничных войск, назывались фамилии, имена, приводились примеры и факты. А я думал о тех, кто прочтет этот документ через двадцать лет,— о парнях в зеленых фуражках, которые как раз придутся нам в сыновья. Будут и у них свои трудности, скорее всего, не такие, а какие-то иные, новые — без этого нет жизни и нет настоящего человека; свои радости, огорчения, сердечные тревоги, письма, девушки, любовь — все будет. И в то же время в чем-то они пойдут дальше нас, в чем-то опередят — ничего не поделаешь, время стремительно летит вперед. Я очень им завидую, нашим будущим детям.

А в торжественной тишине продолжали звучать слова:

«Дорогие друзья! Мы обращаемся к вам, нашим потомкам, с убедительной просьбой — провести юбилейную торжественную встречу на за-

ставе имени Героя Советского Союза лейтенанта Морина, где мы сегодня собрались. Мы просим вскрыть в этот день капсулу, прочитать наше завещание и со своими дополнениями передать наши слова следующим поколениям воинов границы и юных друзей пограничников...»

XII

Вот и конец неизвестности, все стало на свои места.

От Раи пришло письмо, несколько сухих слов: «Желаю успехов в будущей военной жизни. Больше не пиши». Ни подписи, ни обращения — ничего.

Ну что же, мы, пограничники, гордый народ, как сказал Коля Кузнецов, плакать не будем. Но мне тоже хочется, очень хочется посмотреть ей в глаза. Только посмотреть, всего-навсего. Имею я на это право?!

Через несколько месяцев уезжаем домой — я, Кузнецов, Никонов, еще несколько ребят. Верно, они совсем прощаются с границей, а я вернусь. Побуду немного дома — на этот раз с мамой, не придется ей огорчаться — и назад.

Без границы я теперь не могу.

А на плечах у нас зеленые погоны,
и мы с тобой опять идем в наряд.
У пограничников особые законы —
нельзя нам спать, когда другие люди спят.

От автора. Этими стихами, сложенными несколько лет назад юными пограничниками-школьниками в лагере «Молодая гвардия», я и хочу закончить устные солдатские мемуары, которые услышал на заставе имени Морина и вложил в уста Александра Горобца — может быть, потому, что разговаривал я с ним часто и узнал о нем больше.

Накануне произошло волнующее событие: стала известна фамилия одного из пограничников, героически погибшего вместе с лейтенантом Мориним. Помните слова: «Так погибли лейтенант Федор Васильевич Морин и восемь бойцов-пограничников, имена которых не установлены?»

Почему не установлены? Как могло случиться? И ны-

нешние пограничники не переставали искать — посылали запросы, внимательно изучали немногочисленные документы, в который раз перелистывали книги. И обнаружили следующие строки:

«Подойдя вплотную к окопам, гитлеровцы закричали:

— Рус, кончай войну!

Лейтенант Морин приказал открыть огонь. Длинные очереди станкового пулемета сержанта Корочкина прижали фашистов к земле... Но пограничников оставалось все меньше, кончились патроны, замолчал пулемет... И тогда Морин и восемь его товарищей пошли врукопашную».

Подвиг продолжается!

Поиски поведут следующие поколения пограничников. А возглавит эти поиски — вполне вероятно — прапорщик Александр Горобец!

ПОЛЦАРСТВА— ЗА КОНЯ!



I

...И снова уходят дозоры. С вечера до глубокой ночи. А если понадобится, до самого утра. Из дня в день, из месяца в месяц, круглый год, без праздничных и выходных.

II

Кони танцуют.

Выгнув шею, они изящно поднимают точеные ноги и грациозно ставят их на землю.

Ведет хоровод серый в яблоках рослый Интерес. Чуть кося большим умным глазом, он легко несет всадника, чутко прислушиваясь к командам и к движению повода. За Интересом, повторяя его движения, идут остальные.

На строгом милицейском языке это называется мажнежным галопом. Но дядя Леня не согласен. Дядя Леня считает, что кони исполняют свой, ими самими придуманный танец. И еще он уверяет, что кони все понимают, ну, абсолютно все.

Послушать дядю Леню, так каждый конь не просто понимает своего всадника, а чуть ли не по должностям и званиям знает всех. Вот скажем, тот же Интерес. Когда-то он ошибался и путал команды. Даже не так ошибался, как поиграть любил. Нарочно сделает вид, что не понял, норовит выскочить из общего круга и порезвиться в стороне. А когда начал на нем ездить командир подразделения майор Лабезников, сразу другим стал Интерес.

А вы говорите...

Или, скажем, самый ответственный, самый главный час, когда уходят всадники на задание. Ведь кони, все до единого, заранее чувствуют это время и ждут его с не-

терпением. Каждому охота вырваться из огороженного забором двора и в свое удовольствие проскакать по улицам города. За час до семнадцати ноль-ноль уже пританцовывают в денниках, с нетерпением смотрят на двери конюшни.

Старенький, сгорбленный дядя Леня расправляет плечи и победоносно смотрит на окружающих.

Дядя Леня знает о конях все. Он имел с ними дело, когда на свете не было никого из нынешних милиционеров. Дядя Леня был тогда молодым Ленькой Кондратьевым и рубал беляков в конной армии самого Буденного. Потом отошел от коней, работал на заводе. А к глубокой старости, когда уже думать не надо было о работе, появилась в городе кавалерия и понадобился человек редкой, почти забытой профессии — шорник.

Вот какой дядя Леня. И вот почему его уважительно слушает даже сам командир майор Лабезников. А о Тане Колесовой и говорить нечего. Таня не сводит со старика восторженных глаз, ловит каждое слово. Полцарства — за коня! Все отдала бы, только стать бы настоящим, равноправным кавалеристом, а не просто вольнонаемной конного подразделения милиции. Вообще-то, конь у Тани есть, и не один. Майор разрешает брать своего Интереса, старший сержант Потапов поручил ее заботам Регата. Разъезжай в свое удовольствие по манежу. И на этом точка! Никаких выездов в город, заданий, никакого патрулирования. Где это видно, чтобы девушка служила в кавалерии. Мужиков, что ли, для такого дела не хватает, тем более в наше время, когда и кавалерии-то нет? Заявилась девчоночка в юбчонке выше колен и — привет всем! — подавай ей коня, да еще милицейскую форму. Старые милиционеры даже смотреть на нее не стали. А Виктор Горохов обрадовался:

— Еще одна жертва романтики. Нашего полку при-
было.

Правда, за многие месяцы все привыкли к Тане, оценили ее, даже согласились в душе, что неплохо бы ей служить в кавалерии. А нет, чтобы поговорить с начальством, замолвить словечко. Не решается майор, что ли?

— Может, мне похлопотать? — предложил как-то старший сержант Потапов.

— Занимайтесь своим отделением, — строго проговорил майор.

Потапов покраснел. Посмотрел майор на отделенного и пожалел, что так резко оборвал его. Помимо нынешней службы майора Лабезникова, старших сержантов Тихашкова и Потапова крепко связывает и то, что все они — бывшие пограничники. А это значит, где бы потом ни встретились люди, служившие на границе, в каком бы звании они ни были, как бы ни разделял их возраст — всегда будет между ними воинское братство.

— Ну, скажи на милость, — смягчается майор, — под каким соусом явись к самому начальнику управления? Да он же тебя в два счета повернет кругом.

Потапов молчит. Старший сержант знает дисциплину и понимает, что спорить не положено. Правда, кое-какая зацепочка или, как говорит майор, кое-какой соус, чтобы попасть к высокому начальству, имеется. Потапов первым пришел в кавалерийское подразделение милиции, не одним из первых, а самым первым, когда не было еще ни этого городка, ни манежа, конюшен, коней и когда создание особого кавалерийского подразделения стояло под большим вопросом. Может быть, Колька Потапов и был тем самым человеком, который ускорил формирование подразделения, все может быть.

...Отслужил Потапов положенный срок, вернулся с границы домой, а к коням по-прежнему тянет. Можно было бы остаться в родном колхозе, где еще не перевелись лошади, до сих пор живы казачьи традиции, к которым Колька привык с детства. Но то лошади, а хотелось иметь дело со строевыми конями. Только где их в наше время найдешь, строевых коней, да еще на гражданке? Разве что вернуться сверхсрочником на границу?

И тут вдруг прослышал Потапов, что создается конное подразделение милиции. Сел в автобус, приехал в город и сразу в милицию. Дежурному сказал, что ищет начальников, которые принимают людей в кавалерию. Тот начал с кем-то созваниваться. Потом пришел лейтенант и повел Потапова наверх.

В просторном кабинете высокий широкоплечий человек в милицейской форме с генеральскими погонами крепко пожал Потапову руку, пристально посмотрел на него и весело проговорил:

— Ну вот и первая ласточка. Значит, решил служить в милиции?

— Коня дадите? — спросил Потапов.

— А ты напористый,— обрадовался генерал.— Пограничник?

— Так точно,— отчеканил Потапов.— Старший сержант погранвойск.

— Это хорошо,— задумчиво проговорил генерал.— Очень хорошо, что к нам идут пограничники... Начитался, наверное, книг про милицию? — неожиданно огоршил он Потапова.

— Читал,— признался Потапов.

— Интересно?

— Очень.

— Я, брат, как уцеплю такую книжку, так спать не лягу, пока всю не прочитаю.— Генерал лукаво посмотрел на Потапова и подмигнул по-мальчишески.— Жена прячет их от меня, дескать, не высыпаясь. Но, понимаешь, какая история, тебе-то придется заниматься совсем другим. Как по-твоему: для чего мы создаем конную милицию?

— Так красиво же! — вырвалось у Потапова.

— Это верно. Но не только для красоты и парадов. Конная милиция нужна для патрульной службы. Как бы тебе яснее сказать? Одним словом, для того, чтобы ночью можно было спокойно ходить по улицам, не боясь хулиганов. Что-то вроде черновой работы. Помнишь у Маяковского: «Я ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный...»

Генерал прочитал эти строчки звучным голосом, и Колька подумал: вот бы кому выступать со сцены — никаких микрофонов не понадобится. А может, и выступал в свое время в институтской или клубной самодеятельности.

— Так вот,— продолжал генерал.— Ваша служба и будет чем-то вроде ассенизаторской: вылавливать муть, отбросы. Не очень интересно, но крайне важно. Усек? — опять же по-мальчишески спросил генерал.

— Не совсем,— признался Потапов.— Зачем же тогда кони? У вас же полно машин и мотоциклов.

— Эх ты, кавалерист! Попробуй-ка останови на полном ходу машину и поверни в другую сторону. Или спустись за преступником в овраг, переберись через изгородь... Ну как? Не раздумал?

Какой он неожиданный, этот генерал: серьезный и озорной; любящий порассуждать и в то же время быстрый и решительный... Наверное, тоже из пограничников.

С таким служить можно, подумал Потапов. И тут же с сожалением спохватился, что слишком разные у них ступени и вряд ли придется общаться... Однако генерал ждет ответа...

— Коня дадите? — повторил Потапов.

Вызвав адъютанта, генерал приказал:

— Зачислить старшего сержанта Потапова в конное подразделение милиции. Вам что-нибудь непонятно? — нахмурился генерал, глядя на растерянного адъютанта.

— Так нет же такого подразделения...

— Будет! Зачисляйте!

С тех пор, приезжая в подразделение, генерал всегда находит Потапова и, пряча веселый огонек в глазах, спрашивает:

— Как служба, старший сержант?

— В порядке, товарищ генерал.

...Разве это не зацепочка, товарищ майор Лабезников? Неужели вы думаете, что генерал откажется принять и выслушать старшего сержанта Потапова? Но Николай не пойдет к генералу и не будет действовать через голову своего непосредственного начальника майора Лабезникова. Потому что есть субординация и дисциплина, которую никогда не позволит себе нарушить опытный, знающий службу старший сержант. Правда, милиция не совсем армия, здесь своя специфика. Но службу надо исполнять четко, где бы ты ни был.

И еще одна есть у Потапова зацепочка. Но в ней Потапов никому не признается. Совершенно не обязательно всем в подразделении знать, что Таня Колесова нравится Николаю. И что очень хочется, чтобы она была все время здесь, рядом. Вот что нужно Потапову, товарищ майор, и вот почему он хочет идти к высокому начальству. Вам теперь этого не понять, Борис Николаевич Лабезников, вы уже двадцать лет женаты и все у вас перешло в глубокую привычку. Но ведь и у вас это было. И вы готовы были все сделать для своей нынешней жены.

— На днях к нам приедет генерал, — как бы невзначай говорит Лабезников.

Потапов внимательно смотрит на майора. Зачем он это сказал? Майор не такой человек, чтобы бросать слова на ветер.

— Ясно, товарищ майор.

— Ну а если ясно, действуйте!

А кони круг за кругом танцуют по манежу. И если посмотреть на них глазами дяди Лени, то действительно кажется, что исполняют они осмысленный, им одним понятный обряд, а люди вовсе ни при чем.

Конечно, манеж — это не луга, по которым носишься с утра до вечера, пока не надоест. Настоящему, привыкшему к раздолью коню на манеже и повернуться негде: пространство в середине двора, огороженное невысоким забором. Да его перемахнуть-то, этот забор, пару пустяков. Но нельзя перемахивать, несерьезно это для кавалерийского коня. Да и что толку: с двух сторон конюшни, впереди железные ворота, а за ними улицы, дома, опять улицы, снова дома, трамваи, машины и вдали заводские трубы. Попробуй тут порезвись. Нет уж, лучше на манеже, зато в полное удовольствие.

Беда только, что не все кони понимают службу. Особенно вон тот, невысокий, вороной, которого зовут Регат. Вроде бы неглупый, давно здесь, а все одно балованный какой-то.

Поначалу Интерес терпеливо сносил его проделки: в конце концов каждый отвечает за себя. Но потом выходы Регата стали раздражать. Может, и долго бы еще терпел Интерес. Но когда понял, что хозяин у него не обычный всадник, а самый главный здесь человек, когда увидел, как все почтительно обращаются к его хозяину, беря руку под козырек, как всем он нужен и как не знает он покоя, понял Интерес, что должен непременно навести порядок среди коней.

А как его наведешь, порядок, если видишься на манеже во время занятий и в городе на службе. В конюшне тоже не получается: стоит Интерес в отдельном специально огороженном деннике. Такой уж он конь. Не кабардинец, как все остальные, и не дончак, а орловский рысак, деды, прадеды и прапрадеды которого пользовались особым вниманием и заботой. А иначе откуда бы у Интереса такая красивая масть?

Попробовал было ночью Интерес выйти из своей отдельной квартиры, так прибежал дневальный, раскричался, замахал руками. И тогда решил Интерес действовать молча, без всяких предупреждений. Как только видит непорядок в строю, чувствует, что разыгрался какой-нибудь Регат, быстро поворачивается Интерес — так быстро, что майор не успевает его остановить или сдержать. — подскакивает к провинившемуся и бьет его

широкой мощной грудью. Поначалу майор не понимал Интерес, сердился, выговаривал. Потом, видно, догадался, не стал мешать. И правильно сделал. Каждому свое, майору — люди, Интересу — кони.

— Ры-ы-ы-сю арш!

Интерес меняет шаг.

— Соблюдать дистанцию!

— На препятствия!

Чуть подобравшись и напружинившись, Интерес легко отталкивается, вытягивается в воздухе, вроде бы даже на какую-то долю секунды застывает и тут же оказывается по ту сторону жерди. Мягко приземлившись, Интерес, повинувшись поводу, отходит в сторону.

— Кончай занятия!

Интерес не спеша идет в конюшню. Теперь чуть передохнуть и как раз будет команда: выходи строиться на службу! Скоро выяснится самое главное: где будет проходить служба. Если недалеко, в городе, значит, прямо отсюда, со двора, пойдет Интерес по улицам своим ходом. А если за городом, погрузят в закрытую длинную машину, повезут к месту патрулирования и только там начнется работа.

Интерес идет за майором, и вся его большая душа трепещет, по гладкой красивой коже пробегает нервная волна. Потому что совсем это непросто, серому в яблоках коню залезать в грузовик.

Лабезников проходит мимо грузовика, подводит коня к открытым воротам, вскакивает в седло, подает команду и выезжает на городскую улицу. Интерес распрямляет грудь, радостно вздыхает, ловит губами руку хозяина и легко идет по улице.

III

Ночь... Тишина...

Цокают по мостовым копыта, шумно дышат кони. Петляют кривые улочки, тускло светят фонари...

В центре города сейчас оживленно. В парках, на набережной, на проспекте полно людей. Льется музыка из динамиков, звенят гитары...

А здесь ни живой души.

Рядом бубнит Горохов. О чем он? Ах да, опять о том же: особое задание... а какое оно особое — трястись по

ночным улицам... На границу бы его. Там каждое задание — особое. Будь на то воля Потапова, всех пропустил бы через границу. Вот тогда научились бы ни о чем постороннем не думать. Как майор Лабезников, Алексей Васильевич Тихашков, как сам Потапов. Конечно, город не граница, милицейская служба не пограничная. Но и здесь каждую минуту может что-то произойти.

Старший сержант встряхивает головой, отгоняя посторонние мысли, напряженно всматривается в темноту. Ночь... Тишина...

IV

Как же, черт возьми, получилось, что попал он, Виктор Горохов, в милицию? Никогда не думал и не гадал. Все знакомство не шло дальше известной строки: моя милиция меня бережет...

А все Потапов, он кинул идею...

Нет, Потапов тут ни при чем. Не он, так другой, не милиция, так еще что-нибудь. Просто-напросто ухватился за его предложение потому, что надо было куда-то приткнуться: вступительные экзамены в институт провалил и что делать не знал.

Обычная, даже банальная ситуация. До того обычная, что никого теперь этим не удивишь и сочувствия не встретишь. Ну, не сдал, провалился, так иди на завод.

Горохову не хотелось на завод. Как и многие другие в его возрасте, он жаждал необычного. И в этом отношении милиция Виктора вполне устраивала. Бессонные ночи, головоломные загадки, едва заметный след, поиски преступника, тревожные звонки, опасные встречи...

Если по-честному, то опасные встречи, погони и перестрелки совсем не для Горохова. Одно дело читать о них в тихой уютной комнате, попивая крепкий черный кофе, и совсем другое испытать на своей шкуре. Какие уж там встречи и перестрелки, когда вздрагивает Горохов от неожиданного гудка или резкого хлопка. Трусость? Вряд ли. Ходить глубокой ночью по пустынным улицам спящего города не боялся. И если попадался на встречу человек — таинственный, непонятный, может быть, и опасный, как все, что встречается в ночи, — Горохов не уклонялся, хотя по спине ползли мурашки. Был и такой случай, когда остановил его подвыпивший па-

рень, здоровенный, на голову выше Горохова, кулаки, как пудовые гири, и полчаса не отпускал от себя, то впадая в ярость и размахивая ручищами, то слезливо жалуюсь на свою жизнь. Натерпелся тогда страху, но виду не подал и даже заслужил уважение здоровяка.

Нет, не трусость — с чего бы крепкому парню трусить, — какая-то неожиданная робость, что-то вроде заячьей болезни...

Обнаружил ее давно, еще в школе. Все плывут, бывало, до бакена, а Горохов с половины пути поворачивает назад. Никто, разумеется, не сомневается, что он доплывет, просто ему скучно махать руками. Или в спортивном зале. Ребята выделывают на турнике сложные упражнения, Виктор с небрежным видом стоит в сторонке. И опять же общее мнение, что ему лень. Только сам знает, что испугался... Почему? Ну что он, не доплывет до бакена или не крутнет на турнике? При его-то крепких руках и тренированном теле!

Было, и раньше было. Только не думал об этом Горохов, некогда. Упивался всеобщим вниманием.

Школа любила Горохова. Пройдешь по коридору и слышишь почтительный шепот, ловишь восторженные взгляды. Да и учителя относились с особым вниманием, отдавая должное его начитанности, уму и ожидая от него каждую минуту какой-нибудь выходки. На уроках не так слушали учителей, как смотрели на Горохова, а чем он сейчас удивит?

А он удивлял. Опоздал как-то на урок, гордо вошел в класс и продекламировал:

— Я к вам пришел навеки поселиться, надеюсь я найти у вас приют.

Хохот, стон, веселье. Учительница бледнеет и краснеет.

Горохов садится на свое место и небрежно бросает:

— Продолжайте, пожалуйста. Я вас слушаю.

Тут только учительница пришла в себя и не нашла ничего лучшего, как прибегнуть к старому испытанному методу:

— Вон из класса!

Горохов изобразил на лице благородное негодование и, окинув скорбным взглядом класс, произнес:

— Я ухожу, подчиняясь насилию.

А возле двери добавил:

— Но есть, есть правый суд...

Его вызвали к директору, и школа, забыв об уроках, гадала, что же теперь будет. Он стоял в коридоре в окружении млеющих девочек, восторженных ребят и с небрежной ленцой рассказывал, как хорошо поговорили они с Венерой Апполоновной Бельведерской, — виноват, что это я? — с директором Тамарой Апполоновной Красиной. При этом Горохов делал такое невинное лицо, будто не он когда-то приклеил к звучному отчеству соответствующие имя и фамилию.

А разговор был и в самом деле мирный. Горохов согласился, что допустил бестактность. Но ответ учительница шуткой, доказывал Горохов, и не было бы никакого скандала. Вот бросил он фразу из «Золотого тельца» насчет навеки поселиться, а учительница ему бы в ответ другую из того же романа, да назвала бы его Вассисуалием Андреевичем Лоханкиным — и все, убит Горохов! Вот как надо в наш просвещенный век! Конечно, школа не ристалище, урок не турнир острословия. Но без острой шутки, без юмора вся наша жизнь была бы пресной. Не так ли, Вен... простите, Тамара Апполоновна?

И тут Горохов уловил в глазах директрисы нечто такое, что понял: в следующий раз ему непоздоровится. А коль так, надо обезопасить себя.

В кабинете директрисы раздался телефонный звонок:

— Будьте добры, у вас учится Витя Горохов?

— Что-нибудь случилось? — взволновалась директриса.

— Нет, нет, пока ничего. Он приходил ко мне на обследование. Мальчик очень нервный, впечатлительный, легко подвержен заболеваниям. Вы уж будьте с ним внимательнее, не травмируйте его.

Уж что-что, а менять голос Горохов умел, ни одна душа не догадается. Директриса каждый день с тревогой спрашивала:

— Как ты себя чувствуешь, Витя?

Немножечко стыдно, неловко, но в общем интересно. Вся школа жила под лозунгом: берегите Горохова! Правда, постоянное сочувствие директрисы начинало не то чтобы тяготить, скорее, совестить, и Горохов не выдержал.

— Вы меня не жалеете, Тамара Апполоновна, все уже прошло, я совсем здоров.

— Правда, Витя? Очень хорошо, я рада.

И так пристально посмотрела, что понял: не верила в его болезнь, давно уже обо всем догадалась. А молча-

ла только потому, что ждала, когда сам признается. Вот тебе и старенькая смешная директриса, вот тебе и Венера Апполоновна Бельведерская.

— А я и не болел,— смело сказал Горохов, глядя прямо в глаза директрисе.— И позвонил сам.

— Так я и думала. Хорошо, что ты нашел в себе мужество признаться. Всегда бы так, Витя.

Всегда бы так... Эка смелость — сознаться в проступке, зная, что тебе за это не только ничего не будет, а даже похвалят. Вот где взять смелость, чтобы прыгнуть в воду с самого высокого трамплина, как все ребята, или пробежаться по краю крыши? Воображение, что ли, богатое, но стоит забраться на верхотуру, как тут же представлял себя падающим вниз, и не так пугала опасность разбиться, как боязнь показаться неловким, быть высмеянным.

А ведь пришлось и это испытать. В Приэльбрусье. На горной речке. Не на Тереке, Куре, а на малюсеньком ручейке, таком узком, что с одного берега на другой перекинута поваленная сосна. И берега невысокие — какой-нибудь метр, разве полтора...

Но сначала было все хорошо, так хорошо, как никогда. Высокие горы, воздух, от которого, как после стакана вина, слегка кружится голова, альпийские луга, огромные сосны. Уходили с утра и возвращались вечером. Каждый раз по новому маршруту. Уж что-что, а ходить Горохов умел. Была бы удобная, безопасная дорога, а километры не пугали. Он первым неустоимо взбирался на крутой склон, подтягивал отстающих, помогал девочкам. А знал о Приэльбрусье чуть ли не все: и высоту гор, и протяженность ущелий, и где происходили кровопролитные бои с фашистами...

И вот этот ручеек... Ребята и девочки прошли по сосне в два счета, со смехом и шутками. Никто не остановился, никто не испугался: ну, сорвешься, так вымокнешь — только и всего. А Горохов ходил возле бревна, ходил и кое-как перебрался на четвереньках.

Ребята недоуменно переглянулись, кто-то хмыкнул, кто-то деликатно отвернулся... А кругом стоял громовой хохот: смеялись горы, лес, ущелье... Эхо разнесло этот обидный смех по всему Приэльбрусью, по всей стране: люди добрые, посмотрите только на него, король-то го-о-лый.

Хорошо, что подвернулся Потапов, вовремя.

Какой был тогда вечер! Вроде бы кем-то нарочно придуманный: черное небо, такое, будто нет его совсем — пустота без конца и края; яркие звезды, словно висящие на невидимых ниточках, промытые в студеной воде кусочки льда; одинокий серпик луны, ищущий пристанища; невидимая река с движущимися загадочными огоньками... Бог ты мой, до чего красиво! Набрать бы полные пригоршни скользких звезд и внимательно рассмотреть их, чтобы понять, наконец, колдовскую красоту.

По набережной не спеша шел мужчина. Видно, тоже наслаждался красотой. И вдруг от скамейки, где сбилась в кучу компания, отделился паренек:

— Дай, дядя, закурить.

— Не курю.

— Дядя не курит, — крикнул парень в темноту.

— А ты его пощупай, — донеслось в ответ. — Может, он зажимает.

Парень протянул руку. Мужчина отвел ее.

— Дядя не хочет, чтобы его щупали.

Через минуту мужчину окружили. Один из парней, видимо главный, командовал:

— Ну, фраер, показывай, чем богат.

— Фу, как грубо, — проговорил мужчина. — А я-то думал, что попал в приличное общество.

— А мы, значит, неприличные? — вроде бы удивился парень. — Эх, дядя, дядя, придется тебя воспитать.

Парни схватили мужчину.

— А что же ты сам? — спросил он главаря.

— Неохота руки марать.

— А может, испугался?

— Я испугался! — взвыл главарь и бросился вперед.

Что произошло потом, Горохов так и не понял. Парни рассыпались, а тот, что командовал, лежал на земле.

Вот кто нужен был Горохову! Именно такой человек!

— Здорово вы их!

— А ты откуда? — хмуро спросил мужчина. — Тоже из этой компании?

— Что вы! Я сам по себе. Как это вы его?

— Хочешь научиться?

— Хочу.

— Приходи к нам. В конную милицию...

— Так вы милиционер? — протянул Горохов.

— А тебе это не подходит?

— Да нет, что вы!

— Тогда приходи. Спросишь Потапова.

Через несколько дней Горохов пришел.

— Надолго? — спросил Потапов.

— Навеки, — сострил Горохов.

— А чего ты вдруг надумал в милиционеры?

Горохов пожал плечами.

— Так, — неопределенно протянул Потапов. — Ну, ладно, пойдем коней покажу.

— Лошади — это интересно, — заметил Горохов. — Всю жизнь мечтал. Вот только с какого бока к ним подходить?

— С крайнего, — в тон ответил Потапов. — И не лошади, а кони. Лошадь в колхозе. Понял?

В конюшне Горохов обратил внимание на таблички с названиями: Банан, Зонтик, Солист, Лира...

— Зонтик! — развеселился Горохов. — Додумался кто-то. Дождь, что ли, шел в это время?

— Имя дают коню такое, чтобы в первом слове был отец, а во втором мать, — пояснил Потапов. — А вот тебе еще одно странное имя — Вертолет, — остановился Потапов возле рослого серого коня. — Вертолет, дай голос!

Конь заржал.

— Молодец, — погладил его Потапов. — Соскучился в конюшне без хозяина. Зачислят, возьми его себе.

— Возьму, — безразлично проговорил Горохов.

— Ты подойди к нему, погладь.

— Ну его, еще лягнет.

— Как же ты думаешь служить в кавалерии, если коней боишься?

— Привыкну, — неопределенно обещал Горохов.

Черт-те что! Вот тебе опасности, погони, поиски, разгядки...

— Ты, наверное, о другом мечтал, — угадал Потапов. — Имей в виду, у нас служба не очень романтическая. Отбросы вылавливаем, — повторил Потапов слова генерала. — Так что думай, парень, думай. Силой никого не тянем.

Эх, где наша не пропадала. Погладить, что ли, этого, который Вертолет?

Горохов протянул руку и услышал истошный крик:

— Укусит!

Парень испуганно метнулся в сторону и тут же раздался громкий хохот. Смеялись милиционеры, смеялись

кони... Вертолет укоризненно смотрел на того, кого прочли ему в хозяева.

— Отставить смех! — раздалась команда.— Старший сержант Потапов.

— Я, товарищ майор!

— Продолжайте знакомство! Проведите товарища по всему городку.

...Милиция, милиция, милиция моя, не любишь ты, не любишь ты, милиция, меня...

Кто кого не любит — милиция Горохова или Горохов свою службу?

Если по справедливости, то кое-что милиция уже дала Горохову.

Правда, в переделках еще не бывал и на преступниках себя не пробовал. Но в одном удовольствии отказать себе не смог. Зря, что ли, учился три месяца на специальных милицеевских курсах и овладевал основами самбо.

Вот после этих трех месяцев и появился Горохов на своей улице. Не в милицеевской форме, которая очень шла ему, а в прежних узких, обтягивающих бедра и расширяющихся книзу брюках, в белой рубашке с высоко закатанными рукавами. Ни дать, ни взять, прежний Горохов — чуть согнутый, хотя за три месяца научили на курсах держаться прямо и расправлять плечи, с разболтанной походкой, когда ноги волокутся где-то позади туловища, со взглядом из-под нависшей челки. И сразу же, как и рассчитывал, наткнулся на Генку Косаря и его компанию. Ох, до чего же в свое время изводил Косарь Горохова! Худенький, невзрачный — соплей перешибешь, — а всю улицу держал Косарь в своем маленьком кулачке. Пойди пойми почему; попробуй объясни, как тот или иной становится главарем. Наверное, что-то было такое в Косаре, подчинившее ему всю улицу, может быть, нахальство, а возможно, смелость — в этом ему не откажешь. Гороховым Косарь помыкал, как шестеркой: подай, принеси, достань...

— Смотри ты, кто появился, — обрадовался Косарь, увидев Горохова. — Где пропадал?

— В деревне.

— Вовремя ты, вовремя... Деньжонками не богат?

— Откуда?

— Скажи, пожалуйста, как портит деревня людей! — деланно удивился Косарь. — Был парень как парень, передовой, сознательный элемент, и вдруг какая-то жад-

ность появилась, собственнические замашки. Пошуруй дома. Там, в чулке, наверное, не одна красненькая припрятана. А мы подождем. Хоп?

— Пошуровать можно,— лениво ответил Горохов.— А не стошнит тебя?

— Что?!

— От красненькой, говорю, не стошнит? Не много-вато ли?

У Косаря от удивления отвисла челюсть. Он не спеша поднялся, заложил руки в карман и спросил:

— А по ха не хо?

Компания тревожно замерла. Если уж сам Косарь спросил— по ха не хо, то есть по харе не хочешь?— значит, плохи дела Горохова, быть ему нынче смертельно битым.

— Ну?— повторил Косарь.

— Слушайте, братцы, что этот чудака пристал ко мне?— повернулся к сидящим Горохов.— Он у вас всегда такой чокнутый или только сегодня?

Косарь, кипя от злости, кинулся на Горохова. Но тут же крикнул от боли и упал. Засунув руки в карман, Горохов стоял над ним:

— Вставай!

Косарь отчаянно замотал головой. Он знал, что лежащего не бьют.

Конечно, если бы в подразделении узнали об этом, несдобровать Горохову. Но ведь один только раз и то с Косарем...

Ну, а что дальше?

Приятно гарцевать по городу и видеть восторг девушек. А ухаживать за конями, чистить конюшню... Пешему милиционеру куда проще— отстоял смену и домой. А тут...

А не пора ли нам, милиция, горшок об горшок и кто дальше?

V

Пять часов дня. Самый главный, самый ответственный момент в жизни кавалерийского подразделения милиции. Все, что происходит до этого— конная и огневая подготовка, изучение социалистической законности, устава, дела, заботы, которых у каждого неупреждение в таком сложном хозяйстве,— все отступает на задний план.

Точнее, все делается для того, чтобы в полной готовности встретить этот ответственный час.

— Станови-и-сь!

Со всех сторон бегут к центру городка люди, нетерпеливо бьют копытами кони.

— Равня-я-яйсь!

Застыла шеренга, притихли привычные к командам кони.

— Внимание на-а-а сре-дину!

Четко печатая шаг, идет вдоль строя командир подразделения майор Лабезников, останавливается точно перед центром шеренги, поворачивается направо, лицом к строю — щелк, щелк каблуками — и чеканит лихие слова:

— Приказываю выступить на охрану общественного порядка...

Десятки людей стоят в строю: старые и молодые, бывалые и начинающие, медлительные и быстрые... Разные характеры, привычки, судьбы... Кто-то в хорошем настроении, а кому-то сегодня невесело; у одного семейные неурядицы, а у другого и семьи еще нет...

Потом будет ночь. Может быть, спокойная, а возможно, и тревожная. С неторопливым объездом улиц или погоней за преступником. И тогда опять вступят в силу личные качества, привычки, характер, темперамент, реакция, смекалка...

Но сейчас, в эту минуту, все одинаковы, все подчинены короткому приказу «...выступить на охрану...»

— По ко-о-оням! Ар-рш!

VI

Таня извелась в ожидании генерала. Домой уезжала глубокой ночью. И если бы не майор, оставалась бы до утра в подразделении: генерал такой, что может и ночью заявиться. Но майор строго-настрого запретил.

— Отдохнуть надо. И родители будут беспокоиться.

— Они у меня привычные.

— Думаешь? Хотелось бы мне посмотреть, какая ты будешь привычная, когда появятся свои дети.

— Во всяком случае, мешать им не буду, — уверенно проговорила Таня.

— Посмотрим, посмотрим... А тебе мешают?

— Ну... Не очень... Но покоя не дают. Старики ведь...

— Старики? Сколько им?

— Маме сорок четыре, папе — сорок восемь.

— Ничего себе старики. Выходит, и я старик?

Таня смутилась.

— В общем так, товарищ Колесова. Приказываю ехать домой, спать и ни о чем не думать. Ясно?

— Так точно, товарищ майор.

— Всему свое время, Таня. Будет удобный случай, поговорю с генералом. Думаю, он не откажет. Ты на мотоцикле? Машина не нужна?

Любопытная девочка... Кони, собаки, мотоцикл... И во все душу вкладывает. С конями управляется отлично, ездит так, что залюбуешься. Овчарку взяла в клубе собаководства, так не ради баловства, день и ночь с ней занималась, полстраны объездила по выставкам, двадцать восемь медалей завоевал ее Саян. Мало этого, взяла еще внука Саяна, Амура, и теперь учит его. Мотоцикл купили ей родители, чтобы ночами возвращаться из подразделения, так она и мотоцикл освоила, гоняет, как заправский гонщик. Но самое главное для нее — кони. Откуда эта странная привязанность? Спортивный интерес? Многие теперь приходят в милицейский городок и, с разрешения майора, учатся верховой езде: рабочие, инженеры, ученые... Есть такие любители, что все свободное время проводят с конями. Видно, недостает все-таки людям этого благородного, красивого спорта.

Но ведь Тане не это надо. Уж кто-кто, а она, штатный работник конного подразделения милиции, может кататься сколько влезет. Так нет же, подай ей службу. Ничего не объясняя, заявила, что пойдет только в конную милицию. Что это, каприз хорошенькой, избалованной девочки? Не похоже. Капризная девчонка не могла бы управляться с конями, закончить десятый класс, подготовиться и сдать экзамены в институт. Столько времени чистить коней, ухаживать за ними — тут тоже никакого каприза не хватит. Да еще добираться с другого конца длинного, растянутого города. Словом, совсем она не избалована, из крепкой рабочей семьи... Нет, тут настоящая страсть, большое призвание.

Да, загадала ты задачку, Таня Колесова. Что с тобой делать, не придумаешь. Держать вольнонаемной на скромной зарплате без всякого будущего — не выход и

не занятие для умной, способной девушки. Зачислить в конную милицию — почти невозможно...

Вот ведь как жизнь складывается: одному, вроде Горохова, кавалерия далась легко, так он нос воротит, а другая годами мечтает и ничего не получается...

Как все просто и хорошо в армии! Призвали служить, значит, надо служить. Лучше или хуже, зависит от самого солдата, его командиров, от начальника заставы, каким долгие годы был на северной границе Лабезников. А тут каждый живет дома, на службу приходит, как на работу... Милиция! Специфика!

Что же с тобой делать, Таня Колесова?

А Таня в это время пыталась выполнить приказ майора — спать и ни о чем не думать. Будто бы так просто — не думать. Что она, космонавт? Это они умеют отключаться, тренированные. А тут... Душно, что ли? Нет, окна и двери настежь. Двери квартиры Колесовых вообще никогда не запираются. С таким стражем, как Саян, никакие замки не нужны. Ляжет на пороге, уткнет умную голову в мощные лапы и вроде бы спит. Но попробуй подойти близко.

За окном чуть слышно урчит завод. Целый город со своими домами, улицами, скверами, площадями, проспектами, со своим транспортом, светофорами — только что трамваев нет. Добрый город. Кто бы о нем ни говорил — всегда с любовью и уважением. В этом городе прошла вся жизнь Колесовых, здесь начинал еще дедушка, теперь работают отец и мать. И Таня выросла почти что на заводе, с малых лет приучилась любить его и уважать. И вдруг непонятное, а для родителей — по сей день необъяснимое, увлечение лошадьми, которых давным-давно никто не видел в заводском поселке.

Нет, одна лошадь как-то на улице появилась. Запряженная в телегу, стояла она возле крыльца неподалеку от магазина, равнодушная, ко всему безразличная. Таня робко дотронулась до нее, погладила широкий теплый бок. Лошадь тряхнула головой.

— Дядя, можно ее покормить? — спросила Таня.

— Можно, дочка. Только в другой раз. Мы сейчас уезжаем.

— А что она ест?

— Да то же, что и ты: сахар, морковь, булочку... Ну, старушка, поехали.

А подружки в это время собрались стайкой.

На золотом крыльце сидели
Царь, царевич, король, королевич...

— Таня, будешь играть?

— Не хочу.

Девочки удивленно переглянулись. Когда это было, чтобы Таня отказалась играть в пряталки, классики или догонялки?

На золотом крыльце сидели...

Крыльцо для ребят и впрямь золотое: высокое, широкое, просторное, все на нем умещаются. Случайно уцелело от войны это старинное купеческое крыльцо. Все погибло — улицы, дома, город, а крыльцо осталось. И когда начали заново строить, никто не стал трогать это роскошное крыльцо. Пристроили к нему дом, да так, что крыльцо оказалось у глухой стены. Вот и завладели им мальчишки и девчонки заводского поселка — никто не ругается, никому не мешает.

Теперь Таня уже не просто шла на крыльцо. Она ждала, что вот-вот появится старая лошадь, запряженная в тяжелый воз. И каждый раз прихватывала то булочку, то сахар, иногда морковь.

Дедушка понял Таню.

— Род наш крестьянский, всю жизнь при лошадях. Рабочие в нашем роду начались только с меня. Вот и заиграла в Тане наша старая кровь.

А летом увез дедушка Таню в деревню, где он когда-то, давным-давно жил. Привел ее на колхозную конюшню и сказал:

— Лошадей любит. Покатайте.

Дедушку в колхозе уважают. Если дедушка просит, надо сделать. Поднял конюх Таню и осторожно опустил на широкую лошадиную спину. Посмотрела она сверху на всех и сердце забилося от восторга. Конюх тихонько повел лошадь вперед. Таня вцепилась в густую гриву. Сначала было страшно, а потом перестала бояться.

— Еще поедешь? — спросил конюх.

— Поеду. Только одна. Можно?

— Можно, — сказал конюх. — Если не боишься.

— Нисколечко.

Вернулась Таня в город и больше ни о чем думать не может. Выйдет после школы на улицу, усядется в дальнем конце крыльца, чтобы никто не мешал, и занимается своими бумажными и пластилиновыми лошадьми.

— Таня, будешь играть?

Таня не отвечает.

— Лошадница,— тихо говорит кто-то из девочек, чтобы Таня не услышала, а то может трепку задать — она такая, Таня Колесова, лучше ее не злить. Да и никому она не мешает, крыльцо вон какое большое.

А дедушка-то, дедушка какой молодец! На следующее лето опять увез внучку в колхоз к коням. Отец проворчал что-то по поводу разума старого и малого, но перечить не решился.

В колхозе Таню встретили как добрую знакомую и тут же отдали самую красивую лошадь, темно-гнедой масти с белой звездочкой на лбу.

— Насовсем? — обрадовалась Таня, лаская Карбиду.

— Насовсем.

— И когда уеду?

— Конь будет ждать тебя.

Поначалу Карбид недоуменно косился на девочку, потом привык к ее ласкам, лакомствам, терпеливо ждал, пока она заберется ему на спину. И купаться с ней ездил, и в луга. И на праздник урожая повез ее на большую поляну, где собрались колхозники. Девочки звали Таню играть, мальчишки, которые сразу приняли ее в свою компанию, тянули купаться, дедушка соблазнял вкусной едой. А она весь праздник провела у Карбиды на спине. К концу дня — как уж получилось — не понять! — кто-то из мальчишек ударил Карбиду. Конь взвился на дыбы, рванул и вдруг остановился, скосив глаза на Таню: как ты там, не упала? Подбежали испуганные колхозники, увидели, что Таня на коне, и в один голос решили: будет ездить!

Дома Таня упросила отца выписать журнал «Коневодство».

— Зачем? — удивился отец.

— Просто так, интересно.

Бедный отец! Знал бы он, сколько тревог и хлопот доставит ему этот невинный, познавательный журнал! Впрочем, сначала действительно было интересно, и не только Тане, но и отцу с матерью, всему классу. В самом деле, никто никогда не знал столько про коней, не видел таких красавцев. Пионервожатая дала Тане задание сделать большой монтаж и вывесить его в школе, чтобы не только один класс, но все ученики знали породы

коней. Учительница биологии иногда брала у Тани журналы и готовилась по ним к урокам.

И вдруг однажды, прочитав свежий номер журнала, Таня заявила отцу, что едет в Краснодар.

— Собрать тебе вещи? — пошутил отец.

— Я сама соберу, — не приняла шутку Таня. — Да мне ничего и не надо.

— А зачем ты едешь?

Таня протянула журнал с заметкой о том, что в Краснодаре открывается конно-спортивная школа, где будут готовить жокеев и наездников.

— А ты при чем? — спросил отец.

— Я хочу поступить в эту школу.

— Ну, знаешь, хватит! Потерпел я твои капризы — и довольно! Выбрось своих лошадей из головы, кончай десятилетку и думай об институте. Между прочим, здесь ничего не сказано о том, что в школу принимают девочек, да еще с восьмилетним образованием.

Плохо, когда родители не до конца знают своих детей и все еще думают, что могут распоряжаться ими, как хотят...

В школу жокеев она все же поехала. Для этого, правда, пришлось получить персональное разрешение от министерства сельского хозяйства, потому что девушек в эту школу не принимали. И не вина Тани, что вернулась ни с чем: по каким-то причинам школа так и не организовалась. Но урок даром не пропал, поняла Таня, что при желании и настойчивости всего можно добиться.

...За окном урчит завод, на пороге чутко, вполглаза дремлет Саян. А в комнате кружатся кони, много коней — стройные, изящные, с точеными ногами.

VII

Потапов насторожился. Подозрительный человек, очень. Не идет, а крадется, стараясь держаться в темноте.

Горохов, по обыкновению, думал о чем-то своем. Но вдруг обратил внимание на беспокойство Потапова...

Человек свернул за угол. Потапов прищипил Быстрого.

— Скачи в соседний переулок, — приказал он Горохову. — Смотри за проходными дворами.

Не успел Горохов въехать в переулок, как увидел неизвестного.

— Вы не заблудились? — вежливо спросил Горохов. — Может быть, вас проводить?

Потапов вломил бы по первое число, услышав такой разговор. Но Горохов не был бы Гороховым, если бы сухо спросил документы.

— Я сам дойду, — буркнул неизвестный. — Вот моя квартира.

— Тем лучше, — обрадовался Горохов. — В компании, знаете, веселей.

— Что здесь происходит? — спросил Потапов.

— Да вот, гражданин отказывается от моих услуг, — охотно пояснил Горохов.

Потапов поморщился, но не стал ничего говорить Горохову.

— Документы! — потребовал он у неизвестного.

— Что я, их с собой таскаю?

— Тогда мы вас попросим пройти с нами в милицию.

— Пожалуйста, — охотно согласился неизвестный. — Только имейте в виду, за самоуправство будете отвечать.

— А как же квартира? — вспомнил Горохов. — Она же рядом?

— Ничего, ничего, поговорим в милиции. Пусть объяснят, какое вы имеете право задерживать людей. Пойдемте, нечего время терять.

— Смотри ты... — начал было Горохов.

— Отставить, — оборвал его Потапов.

Горохов двинулся за Потаповым и вдруг остановился.

— Что еще? — недовольно спросил Потапов.

— Разрешите задержаться, товарищ старший сержант.

Почему вдруг решил Горохов внимательно осмотреть все кругом, он и сам бы не мог сказать. Мелькнула мысль — и все. Нет, не все. Насторожила поспешность, с какой задержанный согласился идти в милицию, хотя, как он утверждал, квартира рядом. Так не бывает, чтобы чуть ли не из дома идти куда-то ночью восстанавливать справедливость. Скажите, пожалуйста, какое страстное желание побывать в милиции, будто всю жизнь мечтал. А не захотелось ли увести патруль подальше от этого места и как можно скорее?

Как заядлый следопыт, осматривал Горохов переулок, чуть ли не носом тычась в землю, светя фонари-

ком, натыкаясь на камни, бутылки, консервные банки. Вертолет недовольно фыркал, нетерпеливо постукивал копытом: чего он ползает на четвереньках, хозяин, когда рядом конь и можно продолжить прогулку по улицам? Ну скоро ты, что ли?

Горохов поднялся. Кажется, бесполезно. Шерлока Холмса не получилось. Придется, как говаривал Остап Бендер, переквалифицироваться в управдомы. И чего, в самом деле, взбрело в голову? Человек как человек. А пошел в милицию, так это его прихоть — разве залезешь каждому в душу.

И вдруг в луче фонаря что-то тускло блеснуло. Сумочка! Женская сумочка! Вряд ли она здесь оказалась случайно. Нет, не зря вы задержались, товарищ Горохов, есть в вас что-то такое, есть!

VIII

Ну чем объяснить, что из многих людей, из всего строя генерал приметил именно Горохова? Потапов говорит: интуиция. Тихашков пожимает плечами. С Тихашковым Горохов так и не сошелся. Не ругаются, не спорят, молча не замечают друг друга. Точнее, Тихашков делает вид, что Горохова не существует. Ну и не надо. Не идти же на поклон, проживем!

— И чего вы, Алексей Васильевич, не поделили? — удивляется майор.

— Нам делить нечего, — коротко отвечает Тихашков.

— А все-таки?

— Эх, Борис Николаевич... Вы-то знаете меня хорошо.

Лабезников молчит. Не только он, вся городская милиция знает старшего сержанта Тихашкова. Почти четверть века службы — это не так просто. Сначала в пешей милиции, потом в конной. И все время старшим сержантом. С границы принес это звание. Предлагали аттестовать на офицера, хотели послать на курсы. Отказался. Некогда, дескать, учиться, да и годы, мол, не те, чтобы расти. Так и остался постовым. Но нет среди хулиганов, воров никого, кто бы не знал и не уважал Тихого, как окрестили они Тихашкова. Действительно, тихий. Иногда сутками слова не услышишь. Из-за тихости и отказался стать офицером. Вернее, по робости. Может быть, и

прав. Говорят же умные люди, что у каждого есть свой потолок роста. Лучше быть хорошим мастером, чем средним или даже плохим начальником цеха.

— Легковат он, Борис Николаевич,— уточнил Тихашков.

— Что значит легковат? Служба легко дается?

— Ну, это еще как сказать. Несерьезный. Случайный человек.

— Вот и надо помочь ему полюбить нашу службу.

— Не умею. Да и как поможешь? Тут ведь сразу на всю жизнь. Или да, или нет.

— Готовыми милиционерами не рождаются.

— Может быть... Мне не сегодня завтра на пенсию, а я боюсь за свое дело. Двадцать пять лет ни о каких выходных и отгулах не думал. Надо — иду. Дома при-выкли сутками не видеть. А вот будут ли молодые так? Горохов этот на работу к нам нанялся. А тут служба...

Когда майор объявил Горохову перед строем благодарность за инициативу и находчивость, которая помогла задержать опытного вора, Тихашков, кажется впервые, внимательно посмотрел на молодого милиционера. Больше всего ценил старый служака добросовестное отношение к делу. Отнесись Горохов к задержанию формально, не пожелай он шевельнуть шариками, не нашлась бы сумочка, а задержанный бы отговорился. Выходит, не так уж легковат парень, не только ветер у него в голове. Надо бы с ним как-нибудь поговорить, понять, что у него и у таких, как он, за душой.

Совсем было уж решил Тихашков сломать лед и первому подойти. В конце концов, не гордый человек старший сержант Тихашков и если требует служба — готов на все.

Но надо же было генералу милиции из всех выбрать именно Горохова.

— Новичок? — спросил генерал.

— Так точно,— ответил за Горохова майор.

— Как служится?

Ох как не любил Горохов такие вопросы! Будто вынешь и разложишь душу. Что на такой вопрос ответишь? Хорошо, мол. А если не совсем хорошо, если есть сомнения? Разве об этом в строю скажешь?

— Средне,— ответил Горохов.

У майора вытянулось лицо. Потапов покраснел. Тихашков отвернулся. Весь строй затаил дыхание.

Генерал с интересом посмотрел на Горохова.

— Почему средне?

— Не могу знать! Видно, так запрограммирован.

— Скажи, пожалуйста? — удивился генерал. — Потапов!

— Я, товарищ генерал!

— А ты как запрограммирован?

— Нормально, товарищ генерал.

— Разрешите доложить, товарищ генерал, — вмешался Лабезников. — Рядовой Горохов только что получил благодарность по службе.

— А ты говоришь! — весело пробасил генерал. — Значит, программа иногда дает осечку?

— Выходит, так, — ответил Горохов.

— Смело отвечаешь, молодец! Значит, будешь служить. Будешь?

Краем глаза Горохов видел, как напрягся в ожидании его ответа строй. Одно короткое слово — буду! — и все в порядке. Этого слова ждал майор, ждали товарищи, этого слова, надо думать, ждал и генерал. Но Горохова уже понесло.

— Не знаю. Подумаю.

Генерал отвернулся.

— Распускайте людей, майор, — ровным голосом приказал он.

Все видели, что настроение у генерала испортилось. Потапов выругал про себя Горохова: при таком настроении лучше не заговаривать о Тане.

И тут вмешался дядя Леня.

— Дозвольте поинтересоваться, товарищ генерал, как вы насчет верховой езды?

— Никак, — с улыбкой признался генерал. — Смотреть люблю.

— Может, попробуете?

Генерал нерешительно покачал головой.

— И я с вами заодно, — добавил дядя Леня.

— Даже так? Эх, была не была! Смеяться не будете?

Потапов тут же подвел своего послушного, вышколенного Быстрого. Дядя Леня забрался на самого Интереса. Конь недоуменно повел ушами, скосил глаза на странного седока и пошел было к майору, словно желая справиться: нет ли тут какой ошибки. Но почувствовав уверенную руку, послушно свернул на манеж. Потапов повел Быстрого.

— Отойди, старший сержант,— приказал генерал.— Что ты, как нянька.

Дядя Леня перевел коня на легкую рысь. Быстрый тут же подхватил темп. Генерал неловко зашлепал по седлу, но приноровился, выпрямился и загарцевал, как опытный всадник.

На третьем круге майор шепнул дяде Лене:

— Хватит, старик, на первый раз довольно.

Дядя Леня хитро сощурился, спрыгнул с коня.

— Ну, майор,— проговорил генерал, разминая ноги,— зачисляй меня в свое подразделение. Ни одного дня не пропущу. А ты, старик, силен! Лет-то много?

— Хватает. Могу одолжить. За семьдесят.

— Народ у тебя, майор, языкастый. Что молодой, что старый. Если еще и ездят, как говорят, так цены им нет.

— Мы-то что,— приbedнился дядя Леня.— Мы свое уже отскакали. А вот самого доброго нашего кавалериста вы не видели.

Генерал удивленно вскинул брови, посмотрел на окруживших его милиционеров.

— Правда, майор?

— Так точно, товарищ генерал.

— Давай его сюда.

Из конюшни вырвался Регат с Таней в седле. Перемахнул высокую изгородь, отделявшую манеж от городка, наметом промчался несколько кругов, незаметно перешел на изящный галоп, потом снова закружился вихрем, едва касаясь земли... Генерал только успевал вертеть головой, следя за мельканием Регата. Неожиданно конь остановился. Легко соскочив с седла, Таня ласково погладила коня, протянула ему кусочек сахара.

— Цирк! — удивился генерал.— А девушка откуда?

— Наша работница. Вольнонаемная Таня Колесова.

— Ну, майор, такую не грех зачислить в подразделение.

— Об этом я и хотел вас просить,— обрадовался Лабезников.

— Да... Лихо, лихо... О чем ты хотел просить? — вдруг спохватился генерал.

Майор вытянулся и четко произнес:

— Ходатайствую о зачислении в конное подразделение милиции вольнонаемной Тани Колесовой.

— Не положено! — отрезал генерал.

Наступило тягостное молчание. Таня прижалась к Регату. Потапов кусал губы. Майор стоял в положении «смирно». Тихашков вздохнул, Горохов с явным интересом смотрел за этой немой сценой. Дядя Леня обиделся.

— Ну вот,—протянул он,—а еще хочешь заправским кавалеристом стать, ни одного дня, говоришь, не пропустишь... А душу кавалериста понять не можешь. Девка к коням тянется, ей без них жизни нет.

— Так она же при конях...

— Она служить хочет. Служить! Понятно? Взял бы, а? — жалобно попросил дядя Леня.

Генерал посмотрел на старика, на милиционеров.

— А вы чего молчите? — неожиданно спросил он Таню.— Все хлопочут, а вы в рот воды набрали. В милиции робкие не нужны. Вы в самом деле служить хотите?

— Очень,—едва слышно проговорила Таня.

— Громче! Что вы шепчете, как умирающий лебедь. Служить хотите?

— Хочу, товарищ генерал! — чуть не крикнула Таня.

— Вот так надо отвечать, совсем другое дело. А вы представляете, каково девушке в милиции, да еще в конной? Не каждый мужчина выдержит. Вот он,—кивнул на Горохова,—говорит, подумаю...

— Я уже думала. Хочу служить.

— А потом что?

— Поступлю в высшую школу милиции.

— Туда девушек не берут.

— Одну-то можно,—с трудом сдерживая слезы, проговорила Таня.

Все рассмеялись.

— Одну можно,—согласился генерал.— Тем более такого лихого кавалериста. Сам буду ходатайствовать. Зачисляй, майор, Таню Колесову в подразделение. Пусть служит.

— Есть, зачислить Таню Колесову в конное подразделение милиции!

Дядя Леня сиял. Десятки радостных морщин лучились на его лице.

— Вот и хорошо! Теперь ко мне, чайком угощу.

— В другой раз,—пообещал генерал.

Дядя Леня долго смотрел ему вслед, потом уважительно произнес:

— Талон!

- Что? — не понял Горохов.
- Талон, говорю, наш генерал.
- Какой еще талон?..

Дядя Леня молча подвел Горохова к большому лозунгу «Милиционер — эталон поведения».

- Эталон! — догадался Горохов.
- Слышь, Виктор, как сказать это по-русски?
- Тебе-то зачем? Все равно опоздал в эталоны.
- Не твое дело. Можешь — скажи, а нет — катись

отсюда.

— Могу, я все могу. Эталон... Ну, вроде, самый лучший... Ага, вот... Пример, образец.

— А генерал настоящий талон! — убежденно повторил старик. — Пойдем, что ли, почаевничаем?

В крошечной мастерской негде повернуться. По стенам, вперемежку с мотками ниток и дратвы, висят фотографии коней. Почти всю комнату занимает топчан, на котором дядя Леня спит, когда ночует в подразделении. На самом видном месте стоит большой, до блеска начищенный самовар, опоясанный медалями.

Дядя Леня наливает круто заваренный чай и с нескрываемой гордостью говорит:

— Настоящий! Не то, что из чайников. Я вот все, как есть, одобряю: телевизоры, самолеты, радио, космос... А с чайниками несогласный, — по-петушину задирает голову дядя Леня. — Без самовара нет чая. А это главное питье для русского человека. Вот, говорят, водка, любят, мол, в России водку. А я вам скажу, сколько водки ни пей, все одно на чай потянет.

— Брось, старина, небось от стопарика бы сейчас не отказался? — подмигивает Горохов. — Чай, чай... Нет уж, лучше кофе. Черный, как ночь, горячий, как любовь...

— Болтун ты, Виктор, — сердится дядя Леня. — Нахватался разных штучек и болтаешь. Ты ведь и чаю никогда не пил, а лезешь спорить...

— Сколько лет твоему самовару? — переводит разговор Потапов.

— Кто его знает. От дедов досталось. Когда город бомбили, я все бросил, а самовар сберег. Капитан на переправе раскричался, приказал выбросить. А я ему говорю: ежели так, выбрасывай меня, а самовар еще сгодится.

— А у нас все сгорело, — говорит Тихашков. — Только-только купили кровать с красивой деревянной спин-

кой. Долго деньги копили. Мать радовалась.. Не захотела уезжать и опоздала. Бомба прямо в дом...

— Сам как? — после долгого молчания спрашивает Потапов.

— До сих пор не пойму,— все тем же ровным голосом говорит Тихашков.— Повезло. Я на переправе был, перевозил с братом людей. Лодка у нас большая, крепкая... Решил сбегать домой, мать с сестренкой увезти. Вбежал во двор, а бомба в дом... Кинулся к дому, а другая во двор угодила... Даже хоронить некого... Яма...

— А потом? — спрашивает Горохов.

Тихашков долго молчит. Потом... Мины, бомбы, снаряды, пули... И среди этого ада совсем небольшая лодочка, набитая людьми так, что вся она сидит глубоко в воде, по самую кромку бортов. Совсем недавно, до боев, не было для Лешки Тихашкова более надежного, прочного места, чем лодка. Уйдет, бывало, на весь день и гоняет по реке. Дождь, ветер, буря — все нипочем. Рыбачья лодка, она такая, что всю ее зальет водой, а все равно держится. Мать переживала, а отец посмеивался — верил в сына и в лодку. Теперь ни матери, ни отца — погиб в первые дни войны. И лодка уже не кажется такой крепкой и надежной. Каждую секунду может разлететься в куски от бомбы или снаряда или перевернуться от огромной волны, поднятой взрывом... Маленькая, беззащитная лодочка в крошечном аду...

— Сейчас бы не решился,— словно себе говорит Тихашков.— А в тринадцать лет ничего не страшно.

Кипела вода, взметались фонтаны... Хорошо, когда видишь фонтаны, значит, бомбы прошли мимо. Плохо, если не успеешь увидеть. Волна смыла с бревна женщину с ребенком. Тихашков повернул лодку. Молодец женщина, легла на спину, а ребенка подняла на руках. Видно, опытный пловец. Правда, в такой холодной воде, да еще с ребенком, и бывалый человек недолго продержится.

Совсем низко, над самой головой, с ревом пронесся самолет. Застучал пулемет, пули прострочили реку. Когда Тихашков поднял голову, не было ни женщины, ни ребенка.

— Убили! — выдохнула Таня, закрыв лицо руками.

— А вы как же? — напряженным голосом спрашивает Горохов.

— Обошлось. Живой.

— А брат?

— Его в другой раз. Осколком... Даже крикнуть не успел... Ушел в воду...

Горохов смотрит на колодку, приколотую к кителю Тихашкова. Юбилейная... за выслугу лет... за отличие по охране границы... а эта за Сталинград. Сколько скрывается за малюсенькой колодкой! Какой же он был набитый дурак, Горохов, когда посмеивался над теми, кто носит ордена и колодки: дескать, нацепили железки, вырядились, как петухи. Один, что ли, такой? Среди молодых принято эдакое ироническое, снисходительное отношение к старикам и их былым заслугам. Ну, было, ну, воевали, но, может быть, хватит подчеркивать и выставлять напоказ ордена и медали. А сколько, оказывается, за такой медалью жизней и смертей, горя и потерь, опасностей и героизма!

— А чай-то стынет, а, ребятки,— спохватывается дядя Лень.— Дай-ка, Алексей Васильевич, кружку, налью покрепче. А то, поди, взволновался ты.

Тихашков непонимающе смотрит на старика. Он весь еще в воспоминаниях — не сразу улавливает смысл слов дяди Лени.

— Тридцать лет прошло. Все уже затянулось. У меня теперь другие волнения. Чтобы люди жили спокойно...

— Налей и мне, дядя Лень,— говорит Лабезников.

Никто не заметил, когда он вошел, хотя сейчас все чувствуют, как заполнил широкими плечами всю комнату.

Майор снимает фуражку. Горохов с искренним сожалением, чуть ли не с болью смотрит на голую, лысую голову майора. Лабезников начинал пограничную службу на Севере. Жил в трудных условиях, каких-то витаминов не хватало: вот и потерял волосы. Майор рассказывал, что когда он женился и привез на заставу жену, она заплакала.

Вот ведь всем хорош мужик, все в нем, как на заказ,— и крепкая фигура, и чуть кривоватые кавалерийские ноги... Даже сугубо гражданский ромбик на милицеском кителе — и тот вроде бы к месту.

Стоящий он человек. Тут и раздумывать нечего! И не только потому, что милицеским званием и годами старше всех в подразделении, кроме, разумеется, древнего дяди Лени и Тихашкова, который, кажется, ровесник майору. Прожитые годы, конечно, вызывают уважение.

Особенно у молодых. Но в конце концов каждый придет к ним. Никто еще год от года не молодеет.

Труднее стать майором, получить погоны с двумя просветами и большой звездочкой посередине. Но и это не исключено.

А вот опыт — военный, кавалерийский, милицкий, человеческий, такой, чтобы управлять всем хозяйством, командовать людьми и быть для них не только начальником, но и старшим товарищем — никто сверху не присвоит, как звание, не приобретешь его в магазине, как погоны, да и с годами не всегда и ко всем он приходит. Потому, что все зависит от того, как прожиты годы. Можно повзрослеть, даже состариться и ничего самому не испытать — откуда тогда взяться опыту. А можно жить так, чтобы каждый день прибавлял знаний, чуть-чуть мудрости, капельку житейского ума. Вот тогда и появляется тот самый опыт, который не вычитаешь из книг и не выучишь ни в каком институте.

Майор Лабезников опытный человек... Стреляет метко, приемами самбо владеет так, что самый сильный и ловкий в подразделении старший сержант Потапов, который к тому же вдвое моложе командира, не может врукопашной устоять перед Лабезниковым. Ну а в обращении с конями, в верховой езде нет майору равных. Даже строптивый Регат, который только-только начал, наконец, признавать Таню Колесову и больше никого к себе не подпускает, норовя или лягнуть или укусить, заведя майора, приветливо тянется к нему и радостно ржет, словно говоря: ну вот пришел человек, с которым можно иметь дело, который поймет меня, а потому я готов с этим человеком на что угодно. А может быть, все это внушил Регату красавец Интерес, который лучше всех знает майора, давно его оценил и ревниво следит за тем, чтобы и остальные полюбили майора. Наверное, Интерес. Рассказал на своем языке, как легко и просто с майором, какой он спокойный, выдержанный, чуткий, понимающий. Выслушали кони Интересы и прониклись уважением к майору. Стоит Лабезникову войти в конюшню, как со всех сторон, с самых дальних станков слышится радостное, приветливое ржание.

Это вызывает хорошую зависть и искреннее недомыслие Потапова.

— Откуда у него все это? Я вот настоящий казак, можно сказать, родился в седле и то так не чувствую

коней. А он? Вырос на севере, в каких-то архангельских болотах, где и разгуляться коню негде, был лесорубом, сплавщиком. Ну я понимаю, если бы речь шла о разных породах дерева. Тут, ясное дело, с ним не поспоришь. В наших степях за сотни километров не найдешь ни одного дерева. А тут ведь кони, кони!

Майор гладит остывший самовар и говорит:

— А ведь у меня тоже был такой. Мы, северяне, к чаю очень привычные,— незаметно для себя майор начинает окаты.— Когда в армию уходил, отец дал. Будешь, говорит, чаи гонять. Мой самовар даже на соседних заставах знали. Как выберутся ко мне, так прежде всего чай из самовара требуют.

— А где он теперь, твой самовар? — с подковыркой спрашивает дядя Леня.

— Утонул. Когда с заставы уезжал. Верхом ехали, все кругом разлилось, затопило. Я с дочкой, а жена с самоваром на другом коне. Мой легко перемахнул речку, а тот угодил в воду. Жена и выронила самовар.

— Не надо было такую вещь бабе доверять,— замечает дядя Леня.— К седлу бы приторочил.

— Теперь-то да, а тогда молодой еще был, легковатый. Ничего не жалел: потерял — наживем, эка беда!

Таня слушает, приоткрыв рот. Горохов ерзает на топчане.

— А как вы сюда попали? — не выдерживает он.

— Очень просто,— смеется майор.— Ушел в запас. Жена зовет к себе в Петрозаводск, я ее — в свой Архангельск. Спорили, спорили, никак не договоримся. Решили тогда ни к ней, ни ко мне, а куда-нибудь в третье место.

— И сразу в милицию?

— Нет. Работал модельщиком на тракторном, потом гидролизником на алюминиевом. А когда окончил юридический институт, пришел в милицию.

— Почему именно в кавалерию? — не успокаивался Горохов.

— Куда же еще кавалеристу с юридическим образованием? И к коням очень потянуло, соскучился. Ну как, будем считать анкету исчерпанной или еще есть вопросы? — улыбается майор.— Нет вопросов? Все узнали о своем командире? Тогда по домам.

— Рано еще,— пытается возразить Таня.

— Отставить разговоры,— переходит майор на официальный тон, хотя глаза его смеются.— Вы теперь, товарищ Колесова, не вольнонаемная, чтобы спорить с командиром. Спать! По домам, товарищи. Сон для солдата — первое дело. Недоспишь и служба пойдет вкось. Спокойной ночи.

В конюшне стучат копытами кони, переговариваются дневальные. Качаются на ветру лампочки. Возле ворот ходит дежурный. Где-то вдали гремит трамвай. Гудят машины, дымят заводские трубы. Даже ночью не спит большой город.

IX

...Вчера ночью совершенно ограбление квартиры с убийством. Преступнику удалось скрыться. Прошу внимательно выслушать и запомнить предполагаемый словесный портрет разыскиваемого...

Рост средний... Лицо широкое... Глаза голубые... Скажите, пожалуйста, голубые, как у ангелочка... С такими глазами только добро делать. Спешите делать добрые дела... Чего вдруг не ко времени и не к месту влезли в голову эти строчки из тоненькой книжечки, которую отец Горохова бережет пуще всего. Когда-то, в войну, у отца — он тогда был не отцом, а всего-навсего двадцатилетним неженатым парнем — был близкий товарищ. Из одного котелка ели, одной шинелью укрывались. Потом потеряли друг друга — военная служба, она такая: сегодня вместе, завтра врозь. И встретились случайно на строительстве Волго-Дона. Это было в тот год, когда родился Виктор. Отец часто подробно рассказывал об этой неожиданной встрече. Мощные прожекторы высветили шлюз, торжественных и в то же время до крайности взволнованных людей, не просто зрителей, а непосредственных участников строительства, для которых решался сейчас самый главный вопрос — как поведет себя сооружение, первым на канале принимающее воду. А внизу заканчивал работы прораб Горохов. Он даже не увидел самого торжественного момента, только услышал рев воды, устремившейся в шлюз, напряженную томительную тишину — это вода поднималась в камере, затем радостные крики, ликующие восклицания, громкие поздравления. И покрывая весь многоголосый шум

над шлюзом, людьми, над ночью прозвенел голосок диспетчера Зиночки:

— Прораб Горохов, поднимитесь к верхним воротам шлюза, вас ждет начальник строительства. Повторяю...

Кто-то жал ему руку, хлопал по спине, обнимал так, что трещали кости. Горохов улыбался, бормотал какие-то слова, даже раскланивался — совсем как артист после премьеры, с трудом пробиваясь к начальнику строительства. И вдруг почувствовал, что его цепко держат. Ну, знаете, праздник — праздником, радость — радостью, а начальник строительства ждет. Разгневанный Горохов обернулся, увидел чью-то улыбку и услышал:

— Зазнался, а? Совсем зазнался! Старых друзей не узнаешь.

— Постой, постой... Саша!

Фронтовой товарищ оказался известным поэтом и прислал потом свою книжечку с надписью. Эту книжечку Виктор иногда перелистывал. Не из-за стихов — они вообще не очень лезли в голову, хотя все говорили, что эти стихи очень хорошие. Любопытно было посмотреть на портрет известного поэта, к тому же близкого товарища отца, даже пощупать крепко сбитые, четко оттиснутые звонкие строки, которые сложились буквально из ничего — вот ведь где чудо! А одно стихотворение застряло в памяти, то самое, в котором поэт говорит, что он мог бы сделать много добрых дел, да запоздал и обращается ко всем: спешите делать добрые дела!

А тут негодяй, подонок, мразь грабит и убивает. Чего ему не хватает, что недостает? Голубые глаза! Волк в овечьей шкуре!

— Ты чего такой? — обратил внимание Потапов.

— Думаю, — отрезал Горохов.

Потапов с удивлением посмотрел на обычно разговорчивого Горохова...

Х

После трех месяцев занятий на учебном пункте Таня возвратилась в подразделение.

Был разгар служебного дня, когда весь личный состав чистил коней. Не очень это легкая, простая и, тем более, приятная работа — чистить коней.

Но чем хороша чистка коней, что тут ты сам себе хозяин — никакого строя, никакой строгой дисциплины.

Делай свою работу и болтай сколько влезет. Рассказывай байки, разыгрывай приятеля, разговаривай с конем, шути, остри, напевай... И совсем не похожи в эти часы люди в черных комбинезонах на строгих, подтянутых милиционеров в красивой форме.

Горохов первым заметил Таню в новенькой, с иголочки форме.

— А ну, поворотись, сынку. Хороша, ай, хороша! И где только раньше были мои глаза, куда смотрел? — дурашливо запричитал Горохов с явным расчетом на сияющего, ни на шаг не отходящего от Тани Потапова. — Таковую девушку проморгал, а! Увели! Из-под носа увели! И кто? Добро бы принц заморский или сказочный корольевич. Нет, свой брат — милиционер, какой-то Потапов с выгоревшими усами...

Таня смеялась. Потапов улыбался и хмурился, краснел и бледнел.

Пока шел разговор, Регат не находил себе места, порывался выйти из денника, беспокойно вскидывал голову. Вроде бы что-то знакомое чудилось в новом милиционере, но что именно, Регат не понимал. Голос, что ли? Такой был у его прежней доброй невысокой хозяйки, девушки в легком платье.

Может быть, и разобрался бы Регат через минуту-другую, признал бы прежнюю хозяйку. Но Таня так стремительно кинулась к нему, что конь не выдержал — отпрянул в сторону и с силой вскинул задние ноги. Таня вскрикнула, на секунду сжалась от боли, но тут же, хромая, подошла к Регату, обняла его:

— Ты что же, дурачок? Не узнал, да? Ну, успокойся, успокойся... Хочешь булочку?

Вот теперь Регат окончательно признал хозяйку по ласковым приятным рукам, по булочке. Если бы мог конь говорить! Он сказал бы Тане, что ни за что не дотронется до вкусной булочки, которая так заманчиво пахнет, что чувствует себя виноватым, но и она, Таня, хороша: разве не знает, что не любит конь чужих, не очень подпускает их к себе?..

Регат потянулся губами к окровавленной ноге. Таня мягко отвела его голову.

— Не надо, Регат. Я сейчас пойду к врачу. А то мы еще с тобой натворим что-нибудь. Так ты будешь булочку есть или все еще переживаешь?

Булочку? Подожди ты с булочкой. Очень уж обидно, что так получилось. И не только потому, что настоящий, обученный кавалерийский конь никогда без приказа не ударит человека. В сто раз обиднее потому, что с первого дня потянулся Регат к Тане.

В ту пору Регату трудно приходилось, не вылезал из болезней. Тогдашний его хозяин, старший сержант Потапов, никак не мог понять, почему Регат худеет, нервничает, беспокоится, вздрагивает. Вроде бы и конь хороший — стройный, жилистый, подтянутый, крепкий, а вот что-то творится с ним.

Ветеринарный врач внес ясность:

— Тяжеловат ты для Регата, Потапов. Нет бы тебе худеть, так ты коня извел.

Перешел Регат к Тане и сразу же перестал болеть. Начал наливаясь силой, заиграл мускулами, исчезли вялость, беспокойство, раздражительность...

Разве после всего этого не полюбишь на всю жизнь свою хозяйку, не будешь ей предан!

Не надо было приходить в непривычной одежде. Или дала бы время привыкнуть к ней.

— Поняла, Регат, все поняла. Не переживай и ешь булочку.

Не успела Таня выйти из конюшни, как тут же наткнулась на майора.

— Что случилось? В чем дело?

— Регат ударил, — призналась Таня.

— Хорошо начинаете службу, товарищ Колесова. Ты что, его обидела?

— Нет. Обознался он.

— Немедленно домой, — приказал майор. — И пока не вылечишься, не смей сюда показываться.

— А как же Регат?

— Вам ясно, товарищ Колесова?

— Ясно, товарищ майор.

— Повторите приказание!

— Лечиться и не появляться в подразделении.

— Выполняйте!

— Есть!

Таня с удовольствием кинула руку к голове, всей душой чувствуя, что она теперь не просто Таня Колесова, а рядовой кавалерийского подразделения милиции, равноправная частица сложного боевого организма, призванного охранять покой людей.

Интерес заскучал.

Редко теперь выезжает майор на службу. И без того хватает забот: смотр, учеба, заготовка сена, поездка на конные заводы, строительство помещений... Подойдет изредка к Интересу, поласкает, посмотрит в глаза и виноватым голосом говорит:

— Потерпи немного, а? Скоро освобожусь и махнем мы с тобой на весь день.

Скоро, скоро... Только и слышишь — скоро... На днях совсем было выбрался майор, начал седлать Интереса. И вдруг прибегает дневальный:

— Товарищ майор, жеребенок родился.

Майор за голову схватился. Кому не известно, что кавалерийское подразделение не имеет права разводить коней.

Утром майор увидел жеребенка в теплой аккуратной попоне.

— В сорочке родился,— заметил Лабезников.

— Похоже на то,— согласился дядя Леня.— Долго жить будет.

— М-да... Ну что же, будем растить.

— Конечно,— обрадовался дядя Леня.— Мы, Николаич, таких коней заведем, на всю страну прогремим.

— Не знаю, как прогремим, а загремим это точно. Сначала я, потом и ты следом.

— Э, не журишь, Николаич, бог не выдаст. Зато еще один конь появился.

Ну где уж тут думать майору о том, что Интерес застоялся, что в расцвете сил незаметно превращается он в памятник, у которого все в прошлом, на который можно полюбоваться, но от которого никто уже ничего не ждет.

А тут еще Регат разошелся. Небось, когда был не у дел, так молчал, держал себя тише воды, ниже травы. А теперь свысока посматривает на всех. Правда, основания для этого есть. Будто нарочно все нарушения, и ночные происшествия затеваются для того, чтобы дать ему с Таней возможность отличиться.

Только и слышишь теперь — Таня, Регат... Конь догнал, Колесова задержала... Девочки-десятиклассницы, которые по примеру Тани каждый день приходят в подразделение и ухаживают за конями, готовы молиться на Колесову. Еще бы! Весь женский род оправдала и, мо-

жет стать, всем проложит дорогу в кавалерию. Горохов делает вид, что ничего не происходит. Только изредка говорит Вертолету:

— Что, старина, обходят нас?

Тихашков — вот уже на него непохоже — долго разговаривает с Таней. Потапов смотрит на девушку сияющими глазами.

С Регатом Таня не расстается ни на одну минуту. Только ночью. И то, прежде чем уехать, раз пять вернется, поласкает коня, накажет дневальному, чтобы особо присматривал.

— Ты его на ночь домой забирай, — посоветовал кто-то из дневальных. — Тебе спокойнее и нам легче. А то ведь сама извелась и нам житья нет. Ну что я, без тебя не знаю, как за конями ухаживать? Вон их сколько, а я должен об одном Регате думать.

— Чего болтаешь, — набросился на дневального дядя Леня. — Кто разрешит коня по домам таскать? Не дело это. И коня загубить недолго. Был у нас отчаянный парень Колька Сивак. Всем хорош, только с конями не везло: в каждом бою убивали. Больше пеший воевал. Кони, что ли, попадались ему такие, непривычные к войне? А может, сам невезучий. Уж так ему хотелось иметь настоящего боевого коня! Наконец, подфартило нашему Кольке: подстрелил поручика и забрал коня. Вот был, ребята, конь! Загляденье, красавец, огонь! Уж Колька вокруг него вертелся... Если бы можно было, не сам на нем ездил, а на себе таскал. Мы ему и так, и эдак: не дело, мол, баловать. Не какая-нибудь барышня, а боевой конь. Он должен быть привычный и к трудностям, холоду, пулям... Не слушает Колька, сердится, дескать, завидно вам. Ну и случился тут бой. Грудью сшиблись мы с беляками. В таком бою на коня бо-ольшая надежда. Ежели быстрый, проворный, смекалистый, значит, быть тебе живу. А Колькин конь возьми и закапризничай, аккурат в разгар боя. Чего-то, вишь, ему захотелось. Уперся, и ни назад, ни вперед. Тут и налетел казак, снял Кольку с коня.

Регату рассказ, видно, не понравился. Повернулся к старику задом и небрежно помахал перед самым носом хвостом.

— Вот стервец! — покраснел дядя Леня. — Даже слушать не хочет.

Таня с трудом сдержала смех. Очень уж ловко получилось у Регата. Ну что, разве не умница? Самое время похвалить его. Но ни хвалить, ни смеяться нельзя — обидишь старика.

— Смотри, девка! — разошелся дядя Леня. — Испортишь коня. Как я посмотрю в глаза генералу? Спрос-то с меня, я за тебя поручился, иль забыла?

Насчет спроса и поручительства старик загнул. Но пусть так, лишь бы ему приятно.

— Все будет хорошо, дядя Леня, — ласково успокоила старика Таня. — Не подведем вас. Правда, Регат?

Конь мотнул головой, словно подтверждая слова хозяйки.

— Ну вот, видите? — обрадовалась Таня. — Ах ты, умник, хороший мой.

И тут же нацепила коню на шею какие-то картонные, ярко раскрашенные кружочки.

— Тьфу, ты! — вконец рассердился дядя Леня.

— Это еще что? — удивился майор.

— Медали, — ответила Колесова. — За каждое задержание — медаль. Должна же я поощрять Регата.

— Но вы, надеюсь, не выведете его с этими картонками в город?

Одним словом, Таня и Регат — самые известные в подразделении. Да что там в подразделении! Во всем городе, а то и в стране! Пришел фотокорреспондент, долго слепил яркими огненными вспышками, а потом прислал ворох журналов на разных языках. И в каждом — Таня, Регат, Регат и Таня, собака Саян с медалями во всю грудь, Таня на мотоцикле...

Горохов листал журналы и разговаривал с Вертолетом:

— Смотри, старик, так и написано: «Амазонка»! Ты знаешь, кто такие амазонки? Не знаешь. А жаль! Амазонки — это воинственные женщины, которые никого и ничего не боялись. Кажется, так. Подробнее я и сам не знаю, потому что не всегда ходил на уроки. Да, еще верхом они ездят. Нас с тобой амазонками никто не назовет, потому что мы мужики. И в журнале писать не станут. Серые мы с тобой, Вертолет, обычные. Но нам это и не очень надо. Потому что милиция — не наше призвание. Как ты думаешь? Или не согласен? Я и сам, брат, начинаю порой сомневаться. Ладно, Вертолет, поживем — увидим.

Душевный разговор смазывает Быстрый. Надоело

ему, видно, слушать, ну и толкнул он Вертолета. Тот в долгу не остался. Быстрый обиделся. В конюшне запахло дракой — вот ведь к чему может привести слава. Но тут раздалась команда:

— Выходи строиться!

Появился майор, накинул на Интересы седло. Конь задрожал от нетерпения, радостно заржал.

По городу шли парадным строем. Интерес с майором впереди, остальные, повзводно, позади. Почтительно уступали дорогу машины, останавливались на тротуарах прохожие, бежали следом мальчишки. Не каждый день увидишь такое красивое зрелище. Никто, правда, не знает, как хочется Интересу рвануть изо всех сил, пронестись с ветерком, чтобы высушил он горячий пот, обдул распаренную спину. Но нельзя не только промчаться, нельзя сбиться с ритма, нельзя испортить строй. Что тогда скажут люди про кавалерийских коней? Не увидишь в глазах того восторга, уважения, которые придают силы коню.

Майор повернул к реке. Значит, сообразил Интерес, предстоит переправа на тот берег, долгий путь среди отдыхающих горожан. Не очень приятно. Будут к тебе приставать, совать под нос всякие лакомства, от которых трудно удержаться, но которые нельзя трогать, потому что дает их посторонний, незнакомый человек; хлопать по бокам, когда и так жарко...

Не только кони, но и кавалеристы не в восторге от пляжной службы. Это ведь только официально так говорится, что конная милиция должна обеспечить порядок во время обратной переправы отдыхающих в город. На самом деле за все отвечают бойцы. Не будешь же спокойно смотреть на пьяный скандал или возникшую драку или приставание развязной компании к девушке. Тем более, что каждый надеется на милиционера и чувствует себя спокойнее, когда он рядом.

Вот и скажи после этого отдыхающим, что не будешь ты вмешиваться в их споры, а дождешься переправы и тогда приступишь к своим обязанностям. Не поймут ведь, удивятся, обидятся, будут с полным основанием жаловаться, что милиционер остался в стороне. И не дадут тебе никакой скидки на то, что нет возможности уследить за порядком в этом городском парке культуры и отдыха.

Нет уж, куда лучше ночное патрулирование с самыми опасными встречами.

Но приказ есть приказ. Тут не будешь привередничать и перебирать, как, скажем, одежду или обувь. Хочется ли, нет, но надо. Уж если кому сейчас трудно, так это Тихашкову: в его немолодые годы жариться в обмундировании на солнце совсем непросто. А он и виду не подает, несет службу наравне с молодыми. Правда, чуть-чуть ему легче от того, что не вызывает он такого острого к себе любопытства, как Таня. Та вообще не знает, куда деться от толпы.

— Смотри ты, а? Девка на коне!

— Наверное, служит в милиции.

— Ты что! В кавалерию девок не берут.

— А форма?

Толпа лезет чуть ли не под ноги коню. Регат недовольно фырчит. Таня с трудом сдерживает его, уговаривает любопытных отойти. Толпа чуть подается назад и тут же снова окружает Регата. Конь храпит, глаза наливаются кровью. Еще немного—и не выдержит Регат, взбрыкнет...

Но тут появляется Потапов. Толпа шарахается в стороны, уступая дорогу Быстрому. Регат успокаивается.

Горохова толпа обходит так же, как Тихашкова,— эка невидаль, молодой милиционер на коне... Равнодушие отдыхающих вполне устраивает Горохова — легче дышать и спокойнее. Можно сторонними глазами посмотреть на тот самый пляж, где каждое лето пропадал с утра до вечера. И что он только находил здесь хорошего! Теснота, давка, все кругом вытоптано... Будто мало на такой большой реке уютных, зеленых, чистых мест. Да доведись сейчас Горохову отдыхать, ни за что бы сюда не приехал! Отдыхать? А когда теперь придется отдыхать? Ну и занятие себе придумал. Ни в кино, ни в театр, ни на рыбалку — никуда не выберешься. Потапов уверяет, что будет легче, втянуться, мол, надо, и тогда на все время найдется. Пока втянешься, постареешь, а то и ноги протянешь. Вчера на улице кто-то громко пошутил, что если каждый день ходить на работу, то жениться некогда будет. Это на обычную работу, а если на патрульную службу, да еще в конной милиции... Хорошо Потапову, Таня рядом. Впрочем, не в женитьбе дело, это к слову, времени свободного нет, каждый вечер занят...

Интересно, нет ли здесь, на пляже, кого-нибудь из школьных знакомых? Вот ловко бы было показаться им в милицейской форме и на коне.

— Вот ты, оказывается, какой, Виктор Горохов! — неожиданно услышал он радостный возглас.

— Вен... Тамара Апполоновна!

— Ну, ну, не стесняйся,— засмеялась директриса.— Венера Апполоновна, так ведь ты меня хотел назвать? Думаешь, я не знала, кому обязана?

Прячась под зонтиком, директриса сказала:

— Мы тебя официально приглашаем в школу выступить перед нашими учениками и рассказать о благородной службе советской милиции. Можешь приехать на своей лошади. Я думаю, что в данном случае это не будет нарушением порядка и не окажет отрицательного влияния на состояние дисциплины школьников.

Горохов улыбнулся, вообразив Вертолета осторожно взбирающимся по широкой школьной лестнице и сотни ребят, орущих от неистовой радости и возбуждения. Конечно, ни по какой лестнице Вертолет взбираться не будет и не это имела в виду Тамара Апполоновна. Но она даже не представляет, как пойдет кувырком весь школьный день, когда ребяташки увидят конного милиционера.

Гордость школы! Это же надо! Выступить перед ребятами... Постой, постой... Как выступить? Кому?

— Я не могу, Тамара Апполоновна. Я еще ничего такого...

— Можешь! — перебила директриса.— И должен. Никогда не следует забывать школу, которая тебя воспитала.

— Я не забываю, но...

— Никаких «но»!..

— Поговорите с майором,— отчаялся убедить ее Горохов.— В конце концов я человек военный. Как он распорядится, так и будет.

— Поговорю. Сейчас же, немедленно!

Воинственно прикрывшись зонтиком, как щитом, директриса пошла к майору. Очень хотелось Горохову послушать, о чем они будут говорить. Но раздалась команда, милиционеры вскочили в седла и направились к пристани. День подходил к концу. Осталось самое трудное: переправа отдыхающих в город. Выстроившись по обе стороны мостков, всадники перегородили еще в нескольких местах спуск к пристани, образовав что-то вроде шлюзов. Уставшая от отдыха и стремящаяся скорее попасть домой, толпа оказалась замкнутой в не-

скольких квадратах, вынуждена была терпеливо ждать своей очереди, не делала никаких попыток быстрее попасть на пароход. Да и какие могли быть попытки, если каждый с опаской поглядывал на конские копыта и старался держаться от них подальше. Этот непонятный страх всегда удивлял Интереса. Неужели не понимают люди, что никогда не позволит себе конь ни с того ни с сего ударить человека? Или наступить ему на ногу? Иное дело, если командует хозяин. Но ведь и хозяин не дурак, чтобы направить коня на толпу. Разве что попугать, навести порядок. Ну, потеснит кого-нибудь конь грудью, заденет хвостом, пугнет головой, но поставит ноги так осторожно, что даже муху не раздавит. Впрочем, это хорошо, что боятся люди конских копыт — порядок на переправе всегда бывает. А там, где порядок, все идет быстро, хорошо, отдыхающие вовремя попадают домой.

На обратном пути майор сказал Горохову:

— В школу приглашают. Как смотрите?

— О чем рассказывать, товарищ майор? Ничего ведь нет.

— А вам хочется, чтобы было? Неужели до сих пор не уяснили, что каждое задержание — это чрезвычайное происшествие. Жить надо без задержаний и происшествий — вот такая у нас задача. Вам ясно?

— Ясно, — протянул Горохов.

— Как по-вашему, что главное в работе милиционера?

— Пресекать нарушения.

— Главное — будить в людях хорошее, чтобы сами они поверили в него и даже не помышляли о нарушениях. По-моему, так. Будете выступать в школе.

— А можно вместе с Колесовой? И на конях.

— Можно. Только смотрите, Горохов, чтобы все было в порядке. Ничего не придумывайте, рассказывайте все как есть. И о трудностях нашей службы. В общем, свою богатую фантазию на этот раз оставьте в подразделении.

Придется оставить, подумал Горохов. Тем более, что с Колесовой не очень разбежишься. Конечно, можно ее не брать, приглашают одного Горохова. Таня, несомненно, затмит его на этой встрече. Еще бы! Девушка на коне! Но ладно, сочтемся славою. Самое главное, чтобы конная милиция была представлена во всем блеске. И тут без Тани не обойдешься.

А вот насчет трудностей надо подумать. Стоит ли рассказывать, что прежде чем идти домой, надо еще коня привести в порядок, почистить его, посмотреть, чтобы было ему хорошо. Вряд ли все это вызовет страстное желание служить в конной милиции. Нет уж, товарищ майор, помолчим насчет трудностей.

XII

Чего только не насмотришься во время патрулирования, с чем не столкнешься!

Прошлой ночью увидели, что из окна жилого дома валит дым. Сообщили пожарным, а сами быстрее в дом. Дверь заперта, никто на стук не отвечает. Обежали кругом, высадили окно. И вдруг навстречу снарядам просвистел тяжелый утюг.

— Очумел, дядя! — кинулся Горохов к едва виднеющемуся в дыму человеку. — Мы же тебе помочь хотим.

— Не подходи! — заорал человек, размахивая железкой. — Не дам тушить! Сам поджег, сам и отвечать буду. Я ее проучу, стерву.

— Кого? — удивился Горохов.

— Жену. Все сплю. Не подходи!

Ну что ты с ним будешь делать?

Да... Насмотришься, надышишься, наглотаешься. Но вот что любопытно: чем чаще сталкиваешься со всякими ненормальностями, тем больше начинаешь заботиться о тех, кому эти ненормальности мешают жить, то есть обо всех людях. Сколько раз, бывало, обходил когда-то Горохов пьяных, скандалистов, хулиганов, считая, что это не его дело, что и без него все уладится. Сейчас бы не обошел. И не только потому, что на нем милицмейская форма, которая обязывает вмешиваться. Если даже придется снять когда-нибудь форму, все равно не сможет уже Горохов равнодушно смотреть на тех, кто не дает покоя людям. Вот, оказывается, чем еще хороша милиция: будит она в человеке его лучшие гражданские чувства, заставляет помнить, что он за все и за всех в ответе.

А ненормальностей, если разобраться, не так уж и много. Просто нацелен на них милицмейский глаз, ищет их, потому и кажется, нет им конца.

Зато как приятно и радостно, если люди видят в тебе не только блюстителя закона, но и доброго друга, мудрого советчика, опытного человека.

На днях возле кинотеатра остановил мальчонка:

— Товарищ милиционер, можно мне пойти в кино на двенадцать часов?

— Наверное, можно,—улыбнулся Горохов.— В двенадцать часов как раз детский сеанс.

— А мама не будет ругать?

— Откуда я знаю.

— Как же? — удивился мальчонка.— Вы должны все знать.

Вот так штука! Оказывается, даже это должен знать милиционер. Не случайно, видно, обратился мальчик к человеку в милицейской форме. Нельзя его разочаровывать, надо что-то советовать.

— Ну, хорошо,—решился Горохов.— Давай вместе подумаем. Тебе когда надо дома быть?

— В час.

— А кино во сколько кончится? Не знаешь? Сейчас спросим. Около двух. Вот и подумай, сможешь ты в час быть дома?

— Значит, нельзя? — огорчился мальчик.

— Выходит, так. Если только...

Мальчик с надеждой посмотрел на Горохова.

— Телефон есть? Позвони и скажи маме, чтобы не беспокоилась.

— Правда! — обрадовался мальчик и тут же грустно проговорил: — Не успею. Скоро начало. И двухек нет для автомата.

— Знаешь что, иди в кино, а я позвоню твоей маме.

— Ой, как хорошо! Спасибо, товарищ милиционер. Только телефон не забудьте,—уже издали прокричал мальчик.

Весь день был Горохов в приподнятом настроении. Как в тот раз, когда позвала его с балкона женщина и попросила открыть захлопнувшуюся дверь. Не соседа позвала, не слесаря, а случайно увиденного на улице милиционера. Вы можете себе представить Горохова, пробирающегося по узкому карнизу к раскрытому окну? Горохова, который полз когда-то на четвереньках по сосне с одного берега на другой и над которым хохотали лес и горы? И вдруг этот же Горохов лезет по карнизу. А как не полезешь, если на тебя смотрят с надеждой, если ты для всех самый первый, самый близкий человек.

Алексей Васильевич Тихашков уезжал в отпуск и зашел попрощаться.

— Ой, какой вы! — удивилась Таня, увидев Тихашкова в гражданском.

— Что, плохо? — смутился Тихашков.

— Хорошо, очень хорошо! Здорово! Никогда не думала, что вам так идет гражданская одежда.

— Знай наших, — тут же вмешался дядя Лёня. — Мы и так хороши, и так.

— Особенно ты, — не удержался и вполголоса заметил Горохов.

Старик не расслышал, но понял, что в его адрес.

— Чего ты, Витька, бормочешь? Мы, старые, к любой одежде привычные. Я, как ушел из армии, надел первый раз суконные штаны навыпуск и серую толстовку, так меня тут же за директора завода приняли.

— Слабовато. Я думал, за министра.

— Министров тогда не было, а наркомов всех по портретам знали.

— Понятно, беру свои слова назад, — согласился Горохов. — А вот Алексея Васильевича я бы принял за ученого-путешественника: Миклухо-Маклай, Пржевальский, Арсеньев...

— Опять смеешься? — расстроился дядя Лёня.

— Честное слово, нет, — искренне проговорил Горохов. — Да что вы, сами-то слепые? Посмотрите, какой солидный благородный вид у нашего Алексея Васильевича.

Серый костюм свободно облегал широкие плечи, белая рубашка выгодно оттеняла медную шею, бурое от солнца и ветра лицо; седые виски и светлые-светлые, словно выгоревшие, глаза придавали загадочность и значительность... А ведь прав Горохов: ученый-путешественник, много переживший и познавший, или бывалый морской волк.

— Скажите, пожалуйста, — не выдержал Потапов, — а просто милиционер вам не подходит?

— Почему же? — неожиданно согласился Горохов. — Вполне.

— Ну хватит, — вконец смутился Тихашков. — Что я вам, девушка на выданье? В общем, отбываю на месяц, желаю здравствовать и жить без происшествий.

Легким наклоном головы Тихашков попрощался со всеми. Горохов тут же отметил про себя это изящное, полное врожденного благородства движение и опять с недоумением подумал: откуда это? Не так прост, видно, каждый человек, нельзя судить о нем по внешним признакам.

— Вы в город, Алексей Васильевич? Тогда я с вами, нам по пути.

Дядя Леня удивленно заморгал и раскрыл было рот, чтобы припомнить по этому поводу подходящий случай из своей жизни. Но Горохов не был расположен к шуткам.

Трамвай шел через заводские поселки. За окном проплывали высоченные кирпичные трубы, огромные корпуса, многоэтажные дома, скверы, памятники. С легким шуршанием мчались по широкому асфальту машины. Куда-то спешили люди, если судить по одежде, сплошные ученые, путешественники и министры. Да... Умеет народ одеваться, ничего не скажешь. Попробуй отличи теперь рабочего от инженера или каменщицу от учительницы.

Вот таким знал Горохов свой город: красивым, просторным, нарядным и в то же время рабочим, деятельным, трудолюбивым. Иным он себе его не представлял. А Тихашков видел другой город, даже несколько городов. Довоенный, из островов-поселков, между которыми простиралась степь, с узкими улицами, деревянными мостами через глубокие овраги, редкими машинами, разболтанным шумным трамваем... Сплошь объятый пламенем с расколотыми домами, рухнувшими трубами, оборванными проводами, поваленными набок трамваями... Заснеженный и мертвый после боев, с вмерзшими в землю трупами, без единого признака жизни... В том холодном феврале сорок третьего года Тихашков первым в городе оборудовал себе жилье: выбрал уцелевший подвал, огородил горелым железом, соорудил печурку, затопил, разделся, прожарил насекомых и впервые за долгие месяцы заснул спокойным сном. Жизнь продолжалась, хотя и остался Тихашков в свои тринадцать лет совершенно одиноким, без родных и друзей. Впрочем, друзья вскоре появились: приехали добровольцы восстанавливать город.

Любопытно устроена жизнь! Один вспоминает школу и первую учительницу, другой — свою улицу, третий —

кого-нибудь из товарищей, чем-то запавшего в душу... И всю жизнь, до глубокой старости ярким ослепительным светом прорезают память именно эти картины, заставляя сжиматься сердце, вызывая слезы. А Тихашкову почему-то запомнилось совсем другое, хотя была и первая учительница, и улица. Даже страшные дни перемены не так врезались в память, как мрачный подвал, огороженный железом, и докрасна раскаленная печурка. Первое собственное, своими руками приспособленное жилье — может быть, потому? А возможно, подействовали наступившая после боев тишина и чувство безопасности, покоя. Жаль, не сохранился подвал. Когда вернулся из армии, почти не было развалин, в ином направлении пролегли улицы, по другому поднялись дома. Незнакомый город, к которому пришлось привыкать заново. Такой незнакомый, что когда много лет спустя встретил Тихашков школьного товарища, которого военная судьба и дальнейшая жизнь забросили в другой конец страны и который, наконец-то, после многих лет выбрался в родные места, то увидел растерянного человека, недоуменно рассматривающего новый, красивый, но совершенно чужой город, не вызывающий никаких воспоминаний, никакого душевного трепета.

— Наверное, это страшно — лишиться всего, что связано с детством, — подумал вслух Горохов.

Трамвай отстукивал одному ему понятные такты, вагон швыряло из стороны в сторону, водитель объявлял остановки, входили и выходили пассажиры... Тихашков и Горохов так увлеклись разговором, что ничего и никого не замечали. Словно отец с сыном, выехавшие на экскурсию. Оба в гражданском — Горохов по случаю выходного дня, оба чем-то неуловимо похожие, нет, не внешне, а скорее внутренне, одной и той же службой, что ли, сроднившей их.

— Страшно? — повторил Тихашков. — Вряд ли. Дети гибли на глазах у родителей. А страшнее этого ничего нет. Лучше сто раз самому, чем видеть мертвого ребенка. А воспоминания, что ж, от них не уйдешь.

Горохов не стал спорить. Но все же ему показалось: если отнять у него школу и лишить возможности когда-нибудь, на склоне лет, побывать в ней; уничтожить дом, улицу — значит вычеркнуть лучшую часть жизни, а это уже страшно.

— Здесь когда-то был глубокий овраг,— припомнил Тихашков.— Руку я сломал. Играли в казаков-разбойников. Убегал от казаков и полетел вниз. Мать плакала, боялась, что не так срастется. Рука срослась, а матери нет...

Горохов вдруг перестал слушать Тихашкова и почувствовал непонятную, беспричинную тревогу. Непокойно стало на душе. Тихашков разбередил? Нет, непохоже. В чем же тогда дело? Может быть, что-то утром случилось и сейчас припомнилось щемящим чувством? Тоже нет, вроде бы все было хорошо. Что же тогда, что?

Машинально посмотрев вокруг, Горохов наткнулся на яркие голубые глаза. При чем тут глаза? Что за чертовщина? Горохов пытался слушать Тихашкова, даже что-то вставил в разговор. Но голубые глаза невольно притягивали. Голубые... Спешите делать добрые дела... Волк в овечьей шкуре... Мало ли на свете голубых глаз! Померещится же...

Первым желанием было рассказать о своих подозрениях Тихашкову. Но взглянув на безмятежное, спокойное, отрешенное от службы лицо, Горохов сдержался. Не успел уйти в отпуск и, пожалуйста, вместо отдыха очередное дело. Да и дело ли? Одни только беспочвенные подозрения. Необъяснимое чувство тревоги.

— Мне здесь,— поднялся Тихашков.— Ты дальше? Будь здоров. Рад, что поговорили.

Вообще-то и Горохову здесь. Но он решил проехать еще немного, понаблюдать за голубыми глазами. А чего за ним наблюдать? Человек как человек. Очень, правда, зыркает по сторонам. Но мало ли кто куда и как смотрит. Может, с детства напуганный, и таким остался на всю жизнь... Надо было все-таки сказать Тихашкову и проверить документы. У старых милиционеров такая проверка железно получается. Людей, что ли, умеют они располагать к себе? Если ошибся, зря потревожил, тут же переведет в шутку, поговорит, улыбнется, найдет общую тему — и никто не обижается. А у Горохова и других молодых ничего не выходит — слишком строги и официальны. Даже извинения не действуют, все равно на них жалуются. А тут еще без формы, в гражданском. Такой крик поднимут «голубые глаза», найдут немедленно сочувствующих, начнут права качать и не будешь знать, куда деваться. Ну его к черту! В конце концов, Горохов сегодня отдыхает. Имеет он право на записан-

ный в Конституции отдых, как любой гражданин? Может и не оказаться в этом трамвае, не обратить внимание.

Сойти, пока не поздно, не портить себе и людям нервы? А какие у вас нервы, товарищ Горохов, каким образом и когда вы их успели испортить в свои-то двадцать лет? И к выходным дням рано начинаете так бережно относиться, слишком рано, еще устать не успели. Да и есть ли они у каждого человека, такие дни, когда он может спокойно и равнодушно отмахнуться от возникшего подозрения? Особенно работник милиции, который никогда не должен до конца расслабляться и отключаться?

В трамвай вошел милиционер. Горохов обратил внимание, как изменился в лице тот, что с голубыми глазами, невольно дернулся, словно собираясь тут же, на ходу выскочить из трамвая. Эге, братец, а ты не так и чист, если дрожишь при одном только появлении милиционера. Тот ты, которого разыскивают, или не тот; те ли голубые глаза или совсем другие, но что-то за тобой есть.

Трамвай остановился, двери широко распахнулись, незнакомец сошел. Горохов за ним.

Кругом — ни живой души. Глухая, пустынная часть города. Убегающие вдаль трамвайные рельсы, высокие заборы, огородившие будущее строительство, асфальтированное шоссе без единой машины и впереди — устремившийся к заборам неизвестный.

— Эй, товарищ! — окликнул Горохов, нарочно не употребляя слова «гражданин», которое могло бы в этом случае насторожить. — Нет ли спичек?

Неизвестный прибавил шаг.

— Да подожди ты, чудака-человек, — догнал его Горохов. — Спички есть?

— Не курю.

— Что за народ пошел? Все куда-то спешат, спешат... Может, нам по пути?

— Отцепись!

— Не могу отцепиться, — Горохов шел рядом с неизвестным, не сводя с него глаз. — Подожди, говорю! Документы с собой?

Голубые глаза обожгли Горохова.

— А ты кто такой? Что за проверяльщик?

Горохов протянул удостоверение.

— Так, — протянул неизвестный, сунув руку в карман.

— Вот именно,— подтвердил Горохов, сделав вид, что он тоже что-то нащупывает в кармане.— Здесь покажешь или пойдем в милицию?

Голубые глаза стремительно двинулись на Горохова.

— Но, но, без фокусов,— проговорил Горохов, качнувшись в сторону и схватив неизвестного за руку.

Они стояли посередине шоссе, вцепившись один в другого. Противник попался крепкий — Горохов чувствовал его железные мускулы — и, кажется, хладнокровный: ни на секунду не спускал с Горохова голубых, холодных глаз, угадывая каждое его движение, предупреждая и парализуя попытки взять верх. Сам он не переходил в наступление, намереваясь, очевидно, неожиданно высвободиться и быстрее скрыться.

Мимо промчалась машина, другая... Шоферы в последнюю минуту круто выворачивали руль, выкрикивали ругательства.

Горохов неожиданно свалил противника и, не удержавшись, упал вместе с ним.

— Мальчишка, щенок! — прохрипел неизвестный, подмяв под себя Горохова.— Не хотел уходить по-доброму...

— Не могу я с тобой расстаться,— с трудом переводя дыхание, проговорил Горохов, вывернувшись снизу.— Очень мне твои глаза нравятся.

— Ну, гад...

— Береги нервы, дядя, пригодятся...

Резко скрипнув тормозами, остановился грузовик. Вzbешенный шофер выскочил из кабины.

— Совсем одурели, алкаши проклятые! Нашли место для драки. А ну, мотайте отсюда!

Горохов почувствовал, как разжимаются его руки под мускулами противника. Неизвестный рванул в сторону. Горохов схватил его за ногу и опять свалил.

— Держи! — крикнул он шоферу.

— Что?!

— Держи, говорю! Опасный преступник!

Шофер навалился на неизвестного.

— Поехали! — скомандовал Горохов.

Шофер с нескрываемым любопытством спросил:

— А если бы он тебя ножом?

— Тогда бы ты отвез меня в больницу,— устало ответил Горохов.

— Скажи ты, какой! И не страшно?

- Очень даже.
- А как же...
- А так. Есть такое слово — надо! Знаешь?

XIV

Быстрый проснулся рано, сделал зарядку — поочередно выпрямил до хруста задние ноги, потом передние, сильно покрутил головой в разные стороны, поиграл крепкими мускулами, — затем плотно позавтракал овсом и подсолненным пахучим сеном, напился холодной воды и громко позвал Потапова. Ну, где ты там, хозяин? Давай, давай, поторапливайся! Чувствуешь, какое сегодня отличное настроение у Быстрого? Посмотри, как нетерпеливо перебирает ногами Вертолет, как рвется из конюшни Регат... Даже Интерес, который умеет сдерживать свои чувства, и тот чаще обычного прядает ушами, прислушивается к шагам и все время посматривает на дверь своей отдельной квартиры.

Сегодня занятия в поле, которые бывают один раз в месяц и которых все без исключения кони ждут с огромным нетерпением. Полевые занятия — это вам не езда на огражденном со всех сторон манеже и не ночное патрулирование, где хоть и просторно, но тоже особенно не разбежишься, потому что все время надо быть настороже. Полевые занятия это... как бы лучше сказать?.. Это — простор, раздолье, крепкие запахи, от которых кружится голова; это далекие воспоминания детства, зеленая трава, тугой воздух, не тронутая асфальтом и булыжником земля... Э, да что говорить! Даже сам майор Лабезников признался как-то, что молодеет в поле лет на десять и, если бы не служба, поскакал туда, где небо сходится с землей, да так, чтобы ветер в ушах свистел, а из-под копыт летели крепкие комья земли. Очень хотелось Быстрому посмотреть, как помчится майор в степь и, может быть, самому рвануть следом, попробовать догнать, и чем черт не шутит, обставить Интерес. А что, вполне возможно: сил у Быстрого достаточно, а Потапов — опытный кавалерист. Но пока что не мчится майор в степь. Вместо этого выбирает овраги покруче и где-нибудь на середине спуска ловко прыгает с коня, заставляя всех проделывать то же самое. Это называется преодолением спусков и умением

падать. Иной так шлепнется, что еле встает. Не то что Потапов или Тихашков. Те падают легко, изящно, красиво — конь не чувствует и сами на ногах оказываются. Вот этого добивается майор от всех. А разве сразу получится, если кое-кто коня впервые увидел всего несколько месяцев назад. Вот и норовит прыгнуть с высоко поднятого крупа, рискуя свернуть себе шею. Майор терпеливо объясняет, показывает, снова начинает спуск и повторяет падение. Иначе нельзя: отступишься, не доведешь дело до конца, никогда уже не прыгнет всадник с коня.

Вообще-то и коням не так уж легко на этих полевых занятиях. То в овраг спускаться, то куда-то карабкаться, через кустарники прыгать... Да еще по многу раз. Потому что не все привыкли к препятствиям, а конь не должен их бояться. Вот и приучает майор коней — долго, терпеливо. Не кричит, не замахивается, не угрожает, а уговаривает, показывает... Некоторые убеждены, что самый лучший метод учебы — это страх. Майор так не думает — и правильно делает. Если бы Быстрый мог с ним поговорить, то подтвердил, что пугать коня — бесполезно, ничего не получится. Не пугать надо, а увлечь. Ведь каждый готов выполнить волю всадника, но у иного страх пересиливает. Накажи такого, ударь — и навсегда поселишь в нем панический страх. А надо подождать, пока конь успокоится, поговорить с ним ласково — и он непременно сделает все, что требуется.

Быстрый громко и требовательно подает голос. Ему вторит Регат, Вертолет, Банан...

— Опять ты затеял? — обрушился на Быстрого Потапов. — Ну что тебе не терпится? Чем ты недоволен?

Быстрый пристукнул копытом.

— Ах, вот в чем дело! — догадался Потапов. — В поле хочется, да? Ну куда я тебя, такого, поведу? Ты же не умывался, не причесывался... Ребятишки смотреть не станут.

Вот еще чем хороши полевые занятия: на обратном пути ребятишки из окраинных домиков угощают коней разными лакомствами. Даже строгий майор не запрещает.

— Так как, будем красоту наводить?

Быстрый покорно наклоняет голову.

— Вот так, хорошо, — приговаривает Потапов, протирая коню спину, ноги. — Теперь можно и в поле.

До чего же хорошо в степи! Уж на что Горохов и

Таня коренные горожане, и те не могут налюбоваться. Слезть бы сейчас с коней, лечь на прохладную ласковую траву, смотреть в высокое небо и думать о чем-нибудь хорошем. Вот ведь зимой в поле не захочешь мечтать. И летом, когда почерневшая от жгучего солнца, высохшая от жары, лишившаяся всех соков трава шуршит, как проволока, цепляется за ноги, словно умоляя вытащить ее из этого пекла и как-нибудь спасти. Мечтается только весной. Ну разве что еще осенью, когда степь приходит в себя от долгого летнего зноя, как человек после тяжелой болезни, свободно, спокойно, без натуги дышит, смотрит в прозрачную даль, словно читая в ней свою судьбу, и с грустью думает о чем-то своем.

— Ты когда-нибудь видел море? — спрашивает Таня.

— На картинках, — отвечает Горохов.

— А настоящее? Такое, чтобы двигалось, дышало?

— Тоже видел. В кино. Там все движется. Ты чего вдруг в лирику ударилась?

— Так. Показалось, что степь похожа на море. Тебе не кажется?

— Мне ничего не кажется. Я человек городской. Спроси у Потапова. Он — коренной степняк. Слушай, когда же у вас свадьба?

— Не знаю, не думала.

— А вы подумайте. Должен же я принести подарок, а это непросто — подарок на свадьбу. Ты только скажи, когда все это будет.

— Скажу, — пообещала Таня.

— Может быть, прямо сейчас и раскроешь секрет? Нет, не раскрывай, — присмотрелся к едущему впереди майору Горохов. — Уже не до секретов. Майор, сдается мне, отыскал особенный овраг. Буду я сейчас шлепаться с Вертолета, как кала из-под конского хвоста — так, что ли, говорит наш дядя Леня? Эх, жизнь ты кавалерийская! И ведь не отстанет от меня, пока не превращусь в сплошной синяк.

— Или пока не научишься прыгать с коня, — уточнила Таня.

— Ладно, ладно, все вы умные. Нет у вас никакой жалости к человеку. Если разобьюсь, исполни, Таня, мои последние желания: нежно поцелуй меня в лоб и сдай за меня вступительные экзамены в высшую школу милиции.

— Иди ты к черту!

— Какая ты догадливая! Именно туда я и собираюсь в этом крутом овраге. И еще, пожалуйста: налей на свадьбе полный стакан водки. Я мысленно буду с вами и от души — опять же мысленно — выпью за вас.

— Ты лучше смотри на Тихашкова и старайся делать, как он.

— Ах, если бы мне родиться Тихашковым...

Горохову не удалось закончить, майор назвал его фамилию.

— Вперед.

— Есть вперед!

Горохов подмигнул Тане и направил Вертолета к оврагу.

— О чем вы с Колесовой без конца болтали? — спросил на обратном пути Потапов.

— О тебе, Коля, — с готовностью ответил Горохов. — Только о тебе.

— Хотел я вас одернуть, — не обращая внимания на его тон, сказал Потапов. — Ведете себя в строю, как на сельской сходке.

— И надо было, имеешь полное право. Правда, мы с Таней как раз в это время выясняли волнующий вопрос о намечаемом изменении семейного положения старшего сержанта Потапова...

— Младший сержант Горохов!

— Я младший сержант Горохов!

— Научитесь вести себя, когда вам делают замечания! Обращаю внимание на неправильное поведение в строю и предупреждаю, что впредь подобного не потерплю. Ясно?

— Так точно, товарищ старший сержант!

— Колесовой будет тоже сделано предупреждение.

Губы Горохова поплыли в улыбке.

— Ругал тебя Потапов? — спрашивает Таня.

— Не Потапов, а командир отделения старший сержант Потапов. И не ругал, а сделал замечание по поводу неправильного поведения в строю. Вот так, товарищ Колесова.

— Скажи, пожалуйста, какой серьезный.

— Только такой. Другим вы теперь младшего сержанта Горохова не увидите. Выдал мне сегодня Потапов, — признался Виктор. — Наверное, правильно. Надо бы за ум взяться.

— Давно пора.

— Да... С тобой возьмешься.

— Не надо со мной, ты возьмишь один.

— А что, это идея! Пожалуй, попробую. Спасибо за мысль.

— На здоровье. Пойдем. Уже пять часов.

— ...Равня-йсь! Смир-р-р-но!

— Вольно! — командует майор. — Сегодня мы несем службу в двух районах города. Наряды — постоянные. Обстановку уточняют старшие нарядов у начальников районных отделов милиции.

Наряды постоянные. Это хорошо, прикидывает Горохов. Это значит, что будет он, как всегда, в паре с Потаповым. Впрочем, пары редко меняются, разве какой-нибудь непредвиденный случай. И места патрулирования одни и те же. Тоже правильно: изучишь как следует местность, познакомишься с жителями, найдешь среди них помощников... А одним не управиться на глухих, окраинных улицах, в переулках, закоулках, проходных дворах, будь ты хоть трижды бдительным и четырежды храбрым... И вообще сегодня все складывается очень хорошо. Утром встретил Косаря. Поздоровались, заговорили. Косарь спросил про службу. Горохов отшутился, дескать, идет служба, куда ей деваться. Но тот продолжал допытываться. И Горохов почувствовал: не праздное любопытство, не так просто спрашивает. Видно, не дает покоя парню какая-то мысль. Скорее всего, пытается понять, как могло получиться, что он, Косарь, вроде бы крепко стоявший на ногах, всеми признанный на улице, прошедший, казалось бы, огонь и воду, вдруг оказался на пустом месте, а такой вот Горохов, которого никто всерьез не принимал, нашел себя в жизни. А недавно прошел слух, что собирается Горохов учиться. Так?

— Так, — подтвердил Горохов. — А тебе почему бы не учиться?

— Зачем? — удивился Косарь. — Свои двести колов я и без особой грамоты зашибаю.

— Ну если ты считаешь, что все дело в этом, тогда не учись.

— А ты?

— Что я? По твоим понятиям, мне много надо, вот и решил учиться.

— Врешь?

— Вру. Слушай, Сергей,— кажется, впервые за долгое знакомство назвал Горохов Косаря его настоящим человеческим именем.— Это разговор долгий. Давай как-нибудь выберем время, потолкуем по душам. Ты же неправ. Разве в том дело, кто сколько зашибает. Жить надо интереснее. А ты болтаешься, как цветок в проруби, и места себе не находишь. Поговорим?

— Давай,— охотно согласился Косарь.

Вот так-то, друг мой Вертолет! Идешь ты по темным улицам и ни о чем не думаешь, не знаешь, что люди другому относятся к Горохову: ждут его слова, совета, моральной поддержки, будто прожил он немалую жизнь и все постиг. Форма, что ли, милицейская вызывает такое доверие или в самом деле заметно повзрослел, изменился Горохов? Может быть, и форма. Вряд ли без нее был бы Горохов при всей своей рассудительности так нужен людям... Вот так...

Горохов посмотрел на часы. Время перевалило за полночь. Хватит мечтать! Надо смотреть в оба и слушать, внимательно слушать. И почему лихие люди всегда выбирают для своих недобрых дел ночь? Свидетелей меньше? Но ведь и днем есть такие улицы, где редко увидишь прохожего и где нет лишних для преступника глаз. Нет, дело, наверное, не только в этом. Преступления не свойственны человеку, не в его натуре, они — отступление от общих правил, извращение. И преступнику нужна ночь не только для того, чтобы укрыться от свидетелей, и не для того, чтобы чувствовать себя безнаказанным. Ночь нужна, прежде всего, чтобы не видеть самого себя, свою совесть, все то хорошее, что есть в каждом и что возмущается преступлением...

Но что это, крик? Или показалось? Галлюцинация у вас, товарищ Горохов, в результате глубоких философствований. Стоп! Опять крик. Тихий, приглушенный, едва слышный. Нет, не показалось. Вон как напрягся Потапов. И кони повернули головы в ту сторону.

— За мной! — скомандовал Потапов.

Хорошо бы неслышно выйти на этот крик, незаметно подобраться к преступникам. Но разве верхом это мыслимо, когда цокот копыт слышен в ночи за несколько улиц. Да и не время сейчас выбирать особую тактику, спешить надо.

Вывернувшись на окраинную улицу, Потапов и Горохов увидели метнувшиеся в стороны темные силуэты и

лежащего на земле человека. Горохов направил Вертолета к пострадавшему или пострадавшей, а Потапов пришпорил Быстрого и помчался за убегающими. Не успев еще подъехать к пострадавшему, Горохов вдруг увидел выскочившую из-за угла, наперерез Потапову, тень. Повернув Вертолета, Горохов кинулся к Потапову. Каких-нибудь двести метров отделило его от старшего сержанта. Но и этих метров оказалось достаточно: неожиданно появившийся человек взмахнул чем-то и резко ударил Быстрого по ногам. Вылетевший из седла Потапов распластался на земле. Преступник опять взмахнул прутом. Отчаянно рванувшись, Вертолет, пролетел по воздуху и всей тяжестью опустился на неизвестного.

Потапов лежал без движения.

— Коля,—приподнял его голову Горохов.— Коля! Потапов не подавал признаков жизни.

— А, сволочи! — закричал Горохов и вскочил в седло.

— Стой! — схватил Вертолета за повод оказавшийся тут же Тихашков.— Не беспокойся, не уйдут, за ними уже поскакали. Ты лучше помоги Потапову, видишь, шевелится. Ничего страшного, наверное, сильно ударился.

Потапов застался.

— Лежи, лежи,—придержал его Горохов.— Сейчас придет машина.

— Где Быстрый? Что с ним?

— Живой. Ты как? Болит что-нибудь?

— Не знаю. Не пойму. Вроде бы меня долго мяли. Как это я, а?

— Потом расскажу. Лежи.

XV

Черные стрелки
обходят циферблат,
быстро, как белки,
колесики спешат.

Мчатся минуты
среди забот и дел,
идут, идут, идут, идут,
и месяц пролетел!

Влезла же в голову эта немудреная песенка! Когда-то Горохов пел ее в школьной самодеятельности. Задумано было большое музыкальное обозрение о жизни

школы. В нем рассказывалось об одном ученике, который возомнил себя таким уж грамотным, образованным, всезнающим, что впору хоть сейчас становиться ему учителем, а не сидеть за партой, слушать объяснения и отвечать уроки, время от времени в песенной форме вспоминая, каким он был:

Эти дни я припомню едва ли,
Ох, неважный я был ученик.
Как любил я играть на гитаре!
А уроки учить не любил...

Горохов присутствовал на всех репетициях, очень уж интересным получилось музыкальное обозрение. И почему-то его никто не выгонял, хотя посторонних просили уйти. Наверное, не хотели связываться. А может быть, так распорядилась Тамара Апполоновна. Тоже ведь метод воспитания. А что поделаешь! Надо искать индивидуальные пути к ученику.

На Горохова этот метод нисколько не действовал, моральная сторона обозрения проходила мимо ушей. Ему просто нравилось веселое представление. И где-то в душе надеялся он, что пригласят и его принять участие. Уж кто-кто, а Горохов лучше всех может исполнить того самого возомнившего себя всезнайкой ученика. И в образ входить не надо, даже лучше, чем по системе великого режиссера Станиславского. Там надо полностью перевоплотиться, вникнуть в жизнь героя и зажечь ею на сцене. А тут и вникать не надо, будь только самим собой.

Все-таки мудрые люди учителя, ничего от них не скроешь. Или такое простодушное лицо у Горохова, на котором все написано, как в раскрытой книге? Обратила внимание Тамара Апполоновна на творческие муки единственного зрителя и неожиданно предложила ему роль. Не ту, о которой мечтал, не самую главную, но все же интересную и ответственную. Горохов должен был изображать часы: проходить по сцене, вертеть головой направо и налево, как маятник, и петь песенку про черные стрелки, которые обходят циферблат.

— Сумеешь? — спросила Тамара Апполоновна.

— Запросто, — ответил Горохов, небрежно поднялся на сцену, замотал головой и быстро пропел слова.

— Нет, нет, только не так, — испугалась директриса. — Ты же изображаешь часы, четкость, размеренность, время. Понимаешь, время! Если хочешь знать, ты в на-

шем обозрении главное действующее лицо. Потому что все строится на времени: минув месяц, год, прошла зима, промелькнула весна — и вот что стало с нашим учеником. Понятно? Каждое твое появление на сцене означает новый этап. Ты должен настроить зрителя на определенный лад, создать пространственное чувство...

— А можно, я пройду на руках? — предложил Горохов. — И ноги будут, как стрелки.

— Витя! — всплеснула руками директриса. — Ну где ты видел, чтобы часы ходили вверх тормашками?

Не такой уж простой оказалась система режиссера Станиславского. Но в конце концов Горохов вошел в образ и играл, по общему мнению, лучше всех. Одна только беда: вместо «быстро, как белки, колесики спешат», Горохов сказал «колесики стучат», хотя белки не стучат, а именно спешат. Но Тамара Апполоновна успокоила: ничего страшного не произошло, а самое главное — удалось создать чувство времени.

С тех пор и вошла в голову эта простенькая песенка о черных стрелках и циферблате. Одно время, правда, забылась, когда жизнь была кучерявой. Зато с новой силой припомнилась на той же самой сцене во время выступления Тани и Горохова. Давно, наверное, не было в школе такого события. Ребятишки дарили милиционерам цветы и звонкими голосами обещали быть во всем похожими на них. Горохов растерянно улыбался и думал о том, что не надо во всем быть на него похожим, эти стены знают про Горохова такое, что вспоминать стыдно. Неслучайно, войдя в школу и увидев учителей во главе с Тамарой Апполоновной, Горохов хотел по привычке шмыгнуть назад и пройти с черного хода, чтобы лишний раз не попадаться учителям на глаза.

— Ты чего? — удивилась Таня.

— Так, — пробормотал Горохов. — Показалось... Вроде бы я снова ученик...

Тамара Апполоновна — вот мудрая! — подошла к Горохову, заговорила с ним, взяла под руку и долго не отпускала...

Старенький дядя Леня, который за это время вроде бы еще больше задубел, часто теперь говорит про Горохова:

— Молодец парень! Талон!

Горохов теперь редко выбирается к дяде Лене чай пить. Забот — по самое горло. Таня Колесова уехала

в Москву на слет молодых сотрудников милиции, а Регата поручила Горохову. Хотя несколько дней, а за конем надо ухаживать. Регат же не хочет никого признавать, даже поначалу не подпускал к себе. Теперь заключил что-то вроде временного перемирия: дескать, раз такое дело, пожалуйста, ухаживай за мной, но на мою признательность и тем более любовь не рассчитывай.

Если бы дело было только в Регате... Вообще дыхнуть некогда. За последнее время в подразделении появилось много молодежи, даже девушки — проложила все-таки Таня дорогу «слабому полу» в конную милицию... Над девчатами взял шефство дядя Леня — уж он их так опекает, что, кажется, совсем заморочил голову своими байками. А с парнями занимаются все — и Горохов тоже.

Вообще за последнее время в подразделении появилось столько гражданских людей, что майор специально справлялся у высокого начальства, как ему быть. Сказали, пусть ходят, вреда от этого нет. Вот и ходят — школьники, рабочие, инженеры... Всем нужны кони, все хотят ездить верхом — вот ведь потребность какая! Зов предков, что ли? Или просто настоятельная потребность городского жителя уйти от пыльной шумной жизни в тишину, на природу? Ну хорошо, а если бы не было подразделения и коней, если бы не удалось когда-то генералу создать кавалерийскую службу в городе, — тогда как? Подавай им теперь коней — и все! Причем не только кататься, нет! С удовольствием чистят, кормят, навоз выносят... Даже маникюр наводят, особенно женщина в очках: берет в руки специальный нож и так ловко прочищает копыта, словно всю жизнь занималась этим. А ведь совсем непросто срезать наросты, прочистить углубления, полностью подготовить копыто к ковке, да еще под придирчивым взглядом кузнеца. Вызвалась даже ковать коня. Но это уж она перехлестнула. Не всякому опытному кузнецу удастся прибить подкову специальными гвоздями так, чтобы не причинить боль коню: миллиметр вправо или влево — попадет гвоздь вместо копыта в живое мясо и никогда уже не дастся конь в руки кузнецу, как его ни привязывай. Потому-то и окружен в подразделении почетом бывший пограничник сержант Пономарев, у которого легкая рука, отличная выучка, армейская многолетняя сноровка.

Смех и грех с этими добровольными помощниками. Вроде бы и помогают, а в то же время успевай смотреть

за ними. На днях один такой помощничек изъявил желание «причесать» Вертолета:

— Хвост подрежу, гриву приведу в порядок.

Ну что ты с ним будешь делать? Гриву приведет в порядок, хвост подрежет... Откуда ему знать, что длина хвоста у кавалерийского коня обязательно должна быть на ладонь ниже скакового сустава и непременно иметь форму метелки, а грива расчесывается только по левую сторону? Откуда все это знать человеку, впервые увидевшему коней, робко жмущемуся в сторону, чтобы, не дай бог, не укусили, как совсем недавно боялся этого Горохов.

Но если уж по-честному, то экскурсии Горохову даже нравятся. Приятно чуть небрежно, с превосходством знатока говорить о конях и краем глаза видеть устремленные на тебя лица, жадно впитывающие каждое слово. Ничего не подделаешь, любит Горохов внешний эффект. Потому и начинает рассказ со знаменитой фразы: «Коня! Коня! Полцарства — за коня!» Кое-кто, случается, слышал ее, но что она из трагедии великого Шекспира, что вложена в уста Ричарду — далеко не всем известно. Особенно убедительно звучит эта фраза здесь, в кавалерийском подразделении, среди боевых коней и всадников.

— Слышь, Виктор,— не выдерживает дядя Леня,— а кто он, этот самый... ну, как ты его называл... который просил коня? Кавалерист, что ли?

— Король!

— Скажи, пожалуйста! — удивляется дядя Леня.— Король, а понимал толк в конях.

И все же скорее бы вернулась Таня. Легче будет. Она тоже должна возиться с гражданскими. Чем руководствовался майор, выделив на это дело Таню и Горохова — трудно сказать. То ли молодостью, средним образованием, обходительностью, или, как говорит Тихашков, имея в виду Горохова, хорошо подвешенным языком? Но когда ты один, язык слабый помощник...

— Ты будешь в Москву звонить? — спросил Горохов хромающего после той ночи Потапова.— Узнай поточнее, когда вернется. И привет передай. Скажи, что соскучились.

— И ты?

— И я.

— Тебе-то чего скучать? — Потапов оперся на палочку.

— А что я, по-твоему, не мужчина, что ли?

— Ну, знаешь,— грозно сдвинул брови Потапов.

— Ладно, Коля,—спохватился Горохов, вспомнив, что Потапов еще на больничном и его нельзя волновать.— Это я в шутку. А скучать и приветы передавать имею право. Особенно я и Регат. Понятно, старший сержант Отелло?

— Ох, Витька, допрыгаешься ты у меня!

XVI

...И снова уходят в ночь дозоры. Идут по темным улицам чуткие боевые кони, настороженно смотрят в темноту всадники.

Патруль конной милиции охраняет покой города.

СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕТЕР	3
В ГОРАХ	69
А НА ПЛЕЧАХ У НАС ЗЕЛЕННЫЕ ПОГОНЫ	107
ПОЛЦАРСТВА — ЗА КОНЯ!	165

Литературно-художественное издание

Гуммер Иосиф Самуилович

ГРАНИЦА ВСЕГДА ГРАНИЦА

Художник Л. В. Акулина
Художественный редактор А. А. Митрофанов
Технический редактор В. Н. Кошелева
Корректор В. Д. Синёва

ИБ № 3026

Сдано в набор 30.05.88. Подписано в печать 23.05.89. Г-27263. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага для глубокой печати. Гарнитура журнальная рубленая. Печать офсетная. Усл. п. л. 12,18. Усл. кр.-отт. 12,60. Уч.-изд. л. 12,32. Тираж 100 000. Заказ № 262. Цена 80 к. Изд. № 1/е-210.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР.

129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Областная книжная типография.

320091, Днепропетровск, ул. Горького, 20.

Scan, DJVU: Tiger, 2013

Предлагаем новую серию «Полководцы».

Каждая книга (планируется выпуск 16—18 томов) представляет собой сборник популярных научно-художественных биографических очерков о видных военачальниках нашей Родины от русских князей X века до прославленных полководцев Великой Отечественной.

Немало славных имен незаслуженно «затерялось» в истории. Все мы знаем, например, из школьных учебников о киевском князе Олеге, «прибившем свой щит к вратам Царьграда». Но многие ли слышали о Михаиле Воротынском — незаурядном полководце XVI века, разбившем вдесятеро превосходившую орду крымского хана, авторе первого устава пограничной службы? Или о воеводе Довмонте Псковском? По национальности — литовец, он по своим делам стал символом чести и мужества земли Русской. Или взять Ермака. Мало кто знает, что до Сибирского похода он был не вольным донским атаманом, а царским служивым человеком, т. е. кадровым военным...

Аналогов подобной серии в советской литературе, кажется, нет. К ее созданию привлечены видные писатели-историки. Подготовленные ими первые рукописи вселяют уверенность, что издательство порадует читателей хорошей новинкой.

Первый том: «Полководцы X—XVI веков». Автор — член Союза писателей СССР, доктор исторических наук В. В. Каргалов. В 1990 году выйдут следующие две книги, посвященные выдающимся отечественным военачальникам XVII—XVIII веков.

Доманк А. С. Знаки воинской доблести. Издание 2-е, переработанное и дополненное.

Книга получила положительную оценку читателей и прессы. В рецензиях журналов и газет отмечалось, что она познавательна и полезна не только для военнослужащих, но и для массового читателя.

В многочисленных письмах читателей в издательство и автору были высказаны предложения и пожелания расширить материал о нагрудных знаках русской и Советской Армии.

Все это учтено автором при работе над новым изданием.

Даем справку: Первый нагрудный знак Российского государства — знаменитая гривна Киевской Руси, а первым, упомянутым в летописи, награжденным ею был воевода Попович — прообраз былинного Алеши Поповича — соратника Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Золотой гривной был он отмечен за разгром печенегов под Киевом.